

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://prishvinmihail.ru/> Приятного чтения!

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин

Случалось, на огонек во время перелета, или в погоне за своей подругой, влетал ко мне болотный приятель с длинным клювом; влетит, сделает круг над столом и возвращается в Чистик – славное наше моховое болото, мать великой русской реки.

Не одно это болото питает многоводную реку, но все питающие мхи называются чистики.

Наш чистик был когда-то дном озера, и берега его, холмистые, песчаные, с высокими соснами, сохранили свой Первобытный вид, так вот и кажется, что за соснами будет вода, идешь – и нет! Буйные с полверсты заросли, в кустарниках кочки высотой по грудь человеку, если свалишься, напорешься на колья чахлах березок. Ходить тут можно по клюквенным тропам, пробитым общими силами клюквенных баб, волков, лисиц, зайцев, случается, и сам Миша пройдет, все тропят и спасаются в зарослях. Как пробьешься из этих зарослей в чистик – чистое место, благодатное, весной каждая кочка букет цветов, летом после комара, как подсохнет, найдешь себе кочку величиною со стол, и в нее как в постель, только руками поводишь, гребешь в рот клюкву, чернику, бруснику – кум королю!

Такой чистик нужно бы сделать заповедником, и топор, и огонь чтобы не касались лесов, окружающих болото – исток, мать славного водного пути из варяг в греки, иначе река иссякнет и страна обратится в пустыню.

Много пришлось перенести горя за леса, красу и гордость нашего края. Бывало, бродишь по этим лесам – какая могучая тишина, какая богатая пустыня! Так хорошо, только страшно думать, что через сто – сто! – лет эти немые богатства русской земли будут вскрыты, везде будут рельсы, трубы, заборы, фермы – страх за сто лет!

И что же оказалось (...), леса были так исковерканы, завалены сучьями, макушками, что трава и цветы не выросли, и за грибами, за ягодой стало невозможно пройти, озера опустели, всю рыбу повыволожили и заглушили солдаты бомбами, птицы куда-то разлетелись, или их поели лисицы? Да, только хищники, лисицы, волки, ястреба заполонили все вырубки, заваленные сучьями. Лес, земля, вода – вся риза земная втоптана в грязь, и только небо, общее всем и недоступное, по-прежнему сияет над этой гадостью.

Будет ли Страшный Суд?

На этот Суд я готовил одно себе оправдание, что свято хранил ризы земные.

И они все потоптаны.

Чем же я оправдаюсь теперь за свое бытие?

В тяжелые минуты спросишь себя: «Чего хочу?» – и отвечаешь: «Хочу настоящего чаю с сахаром».

– Не ты ли, друг мой, боялся, что в твоей могучей пустыне через сто лет на каждом шагу будут предлагать чай с сахаром и кофе со сливками?

– Да, я боялся, я думал о внешней природе по детским сказкам, теперь я думаю, что природа остается могучей только внутри нас, в борьбе с личными целями, но то, что мы обыкновенно называем природой – леса, озера, реки, все это слабо, как ребенок, и умоляет доброго человека о защите от человека-зверя.

Я думаю, что мы покорили безумие животных и сделали их домашними, или безвредными, не замечая того, что безумная воля их переходила в человека, сохранялась, копилась в нем до времени, и вот отчего (...) все бросились истреблять леса, – это не люди, это зверь безумный освободился.

Или это не так? Но верно, что Россия была как пустыня с оазисами; срубили оазисы, источники иссякли, и пустыня стала непроходимой.

Россия...

Или это лишь чувство прошлого? Но какое же у нас прошлое – народ русский в быту своем неизменный; история власти над русским народом и войн? Огромному большинству русского народа нет никакого дела до власти и до того, с кем он воюет; история страдания сознательной личности, или это есть история России? Да, это есть, но когда же кончится наконец такая ужасная история, и сам Распятый просил, чтобы миновать ему эту чашу, и ему даже хотелось побыть.

Родина...

Если бы моя далекая возлюбленная могла услышать в слове силу моей любви! Я кричу: «Ходите в свете!» – а слово эхом ко мне возвращается: «Лежите во тьме!» Но ведь я знаю, что она существует, прекрасная, и больше знаю, я избранник ее сердца и душа ее со мною всегда, – почему же я тоскую, разве этого мало? Мало! Я живой человек и хочу жить с ней, видеть ее простыми глазами. И тут она мне изменяет, душу свою чистую отдает мне, а тело другому, не любя, презирая его, и эта блудница, – раба со святою душой, – моя родина. Почему о родине я могу говорить, и, если бы я твердо знал, что это особенно нужно, я бы мог петь о ней, как Соломон о своей лилии, но ей сказать я ничего не могу, к ней мое обращение – молчание и счет прошедших годов?

Немой стою с папироской, но все-таки молюсь в этот заутренний час, как и кому не знаю, отворяю окно и слышу: в неприступном чистике еще бормочут тетерева, журавль кличет солнце, и вот даже тут, на озере, сейчас на глазах, сом шевельнулся и пустил волну, как корабль.

Немой стою и только после записываю:

«В день грядущий, просветли, господи, наше прошлое и сохрани в новом все, что было прежде хорошего, леса наши заповедные, истоки могучих рек, птиц сохрани, рыб умножь во много, верни всех зверей в леса и освободи от них душу нашу».

I АМПИРНЫЙ ДВОРЕЦ

Дворец владельцев этих лесистых обширных угодий признали высокохудожественным памятником искусства и старины, и некоторое время он стоял в полной сохранности, только уж, конечно, липы в парке постепенно обдирали на лыко, из павильонов и теплиц тащили стекло, завесы, гвозди, в большом искусственном озере стал подгнивать спуск, вода убывать, травы показались на мелких местах, цапли налетели рыбу клевать. Чудака не находилось на холод и голод вгнездиться во дворец и охранять его, и придумали самое плохое, что могло только быть для охраны: поселили тут внизу детскую колонию, с этого и началось заселение дворца. И началось!

Колония испортила быстро всю восточную часть и достала мандат на часть западную, а на ее место явилась школа. Колония движется во второй этаж, за ней школа, внизу начинает спектакли и танцы Культиком и тоже вслед за школой перебирается вверх. В каком виде все тут внизу осталось, срам и рассказывать, не потрудились даже вымести шелуху от подсолнухов, полное безобразие: валяется белая туфля без каблука, стоптанный валенок, и на ступеньках лестницы из дряни грибы растут и зеленые мухи летают, – гадость ужасная. Обратили внимание, вычистили, разгородили комнаты шелевкой, устроили разные проходы, дверцы и впустили сюда «контрибуцию» – так называлась у нас комиссия по сбору налогов деньгами, продуктами, еще тут вгнездилась лесная контора Цейтлина, часть совхоза, старуха с барскими павлинами, другие разные лица с мандатами. Всюду теперь по лестницам шныряли военные и полувоенные, что-то искали, организовывали, кто силен – грач, кто прозевал – ворона, кто поет хорошо – скворец, а воробей вон из скворечника. У нас же было наоборот: ворона гонит грача, воробей – скворца. Пять комнат во втором этаже, однако, были нетронуты, ручки на дверях завязаны и запечатаны печатью. Не посмотрели бы, конечно, ни на веревки, ни на печать и замки, а так не доходило и проскакивало из памяти. На этих комнатах было написано: «МУЗЕЙ УСАДЕБНОГО БЫТА» – какое дело помещичий быт в такое разгромное время, а вот слово «Музей», – и не тронули, тоже слово «павлин» – и не тронули двух павлинов, мало того, для охраны этих павлинов на полном совхозном пайке состоит Павлиниха, барская нянька, старуха, враждебная советской власти столетием собственного ее опыта жизни.

Раным-раненько с высокого вяза слетает павлин к воротам встречать солнце, вчера

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
сторож колонии не раз облил ему хвост помоями и мальчишки оплевали – он теперь долго очищается и наконец, задрав хвост до невозможности, становится всей синевой и радугой своих бесчисленных завитков и лунок к солнцу. Спускается к своему огорду поповский сын шкраб Василий Семенович, оправляется тут же, под голубыми соснами, ничего не поделаешь, во всем доме негде. Всегда удивляется Василий Семенович павлину, разглядывает, покуривает. Вот оправляется и Коля Кудряш, конторщик контрибуции, в хорошем расположении духа подходит к павлину.

– Ай, ай, ай!

– Что такое?

– Хвост–то, хвост, красота! Происхождение птицы вам, Василий Семеныч, известно?

– Райская птица.

– Райская, я понимаю, а каких же стран?

– Из райских, конечно.

– Есть же такие страны райские. Угрюмый, выходит с помоями с утра до вечера воду носящий сторож колонии.

– Тоже зерно выдают! – ворчит он, проходя мимо павлина. – И еще при такой птице старуху содержат.

– Хранцуз! – отвечает Павлиниха и: – пав, пав, пав! – отзывает с пути, чтобы тот не облил хвост помоями.

– Красота!

– А польза какая?

– Все тебе польза, хранцуз!

Просыпается колония. Начальница, злейшая дева, босоногая, как хищная красноглазая птица, распущенной летит по коридору на кухню хлеб делить, а вся стоногая детвора бежит, рассаживается под миртами и лаврами в дендрологическом садике, в ампирном павильоне, в теплицах, в английском парке под вязами – везде! На десятину вокруг все испачкано.

Подваливает слобода – так мужики называют все это дело с контрибуцией. Мужики тихи, робки и вежливы оттого, что у каждого для весу в кудели по камню, в муке много песку, баран кожа да кости, курица чумная, только бы сдать, а не сдать и попадешься, тогда разговор краткий.

– А есть?

– Есть! – спешит ответить мужик и гонит в кусты за самогонкой.

Хвост–то, хвост задрал! – удивляются мужики на павлина.

– Красота!

С Павлинихой у них связь старинная через владельцев, и разговор у них в ожидании веса бывает тихий о старом и новом, что старое хорошо, а новое никуда не годится.

– Другу не дружи и другому не груби. Богу молись и черта не забывай, вертись, как жареный бес на сковороде.

– Все–то загадили и очертенели.

– Очертенели!

– Намедни ребяташки в крест стали каменья кидать.

– В крест!

– С места не сойти: в самый крест кирпичом. «Чертенята окаянные, куда вы, оглашенные, кидаете, или не видите крест!» Кричу им, а они мне что же отвечают: «Это, бабушка, чертов рог».

Павлиниха рассказывает, а мужики с открытыми ртами стоят и бородами качают, как метлами. Борода, борода!

– Один забрался ко мне и деготь налил в лампадку Николе Угоднику. «Что ты, голопузый, наделал?» – «Я ему, – говорит, – бабушка, хотел усы подкоптить».

– Терпит земля бесов!

– Земля, матушка, все терпит, ну да как-нибудь Господь поможет, есть же Он, человек хороший?

– Как не быть – вот со мной было: рублю дрова, насадил глаз на дернину – свет пропал! Иду по полю, молюсь: «Матерь Божия, Скоропослушница, помоги мне!» Откуда ни возьмись баба, что языком болезнь достает. Баба эта тронула бровь, полакала глаз и сняла.

– У Миная наемни была, – шепчет Павлиниха, – скоро, говорит, все кончится, вериги слабеют.

– Расходятся.

– И еще говорят: кто Библию читать умеет, тому известно число.

– Было ж его число и прошло.

– Это ничего, говорит, что прошло, так и сказано надвое, ежели число пройдет, еще столько же процарствует Аввадон, князь тьмы.

– И опять дожидаться числа?

– Опять дожидаться.

– Эх вы, Минаи, заминает вас Минай, кому святой, а мне Кузька, бывало, я ему по уху, и он мне по уху: он Кузька, а я Бирюлька. Ученый человек Василий Семеныч, вот нам скажет получше, ну, что новенького слышали?

– Слышали новенького, что мощи Святителя открыли, и оказалось, и оказалось, как вы думаете, что там оказалось? – спросил Василий Семенович, поповский сын, – да, что там оказалось?

– Мышь?

– У, проклятый Фомка, смотри ты у меня! – подняла свой костыль столетняя Павлиниха и погрозила. Бирюлька усмехнулся:

– Ну, что же оказалось?

– Кукла!

Все поглядели на Павлиниху, кто с усмешкой, кто из любопытства хотел проверить, состоит ли на ногах Павлиниха. Но старуха и глазом не моргнула, старуха что-то свое думает.

– Куклу эту раздели, распотрошили, и оказалась в ней кость.

– Кость!

– Тронули, и кость золой рассыпалась. Состоит ли Павлиниха? Смотрят все на старуху. Павлиниха сказала:

– Чего вы на меня смотрите, или сами не понимаете?

– Понимаем: кость.

- Кость костью, а батюшка ушел.
- А золу эту насыпали на рогожку, положили возле церкви и написали: «ВОТ ЧЕМУ ВЫ ПОКЛОНЯЛИСЬ». Такие вот новости...
- Дюже нужно! – зевнул Бирюлька. – Я думал, вы насчет внутреннего скажете.
- Я же говорю о внутреннем.
- Это внешнее, а вот как жизнь меняется, или новый край... Мы же на краю живем, а вы говорите про мощи. Вот вы скажите, будет ли когда установка.
- Остановка?
- Ну да, установка, все-таки вам известно.
- Ничего не известно.
- Ну да хоть мало-то-мальски? А Павлинихе теперь и дела нет до этого внутреннего, она говорит про свое:
- Ушел, ушел батюшка, скрылся и невидим стал злодеям, показался им костью и золою.

Павлиниха состояла.

- Куда же он скрылся? – спросил маловерный Бирюлька:
- Тут же он, тут же, батюшка, только невидим стал Божиим попусцием и грех наш ради.

Павлиниха состояла вполне.

Имеющие уши слушают, другие поглядывают на контору в ожидании веса и тихонько ругаются:

- Контрибуция, братцы, насела!
- Во как!
- Во как насела контрибуция!
- Окаянная сила!
- Задавила контрибуция!
- Переешь ей глотку!
- И всего ей подай: деньги подай, хлеб подай, лошадь подай, корову подай, свинью подай, и кур описали.
- Кур описали!

Задави ее комар на болоте.

Подваливает, все подваливает слобода – телега к телеге, баран к барану, мешок к мешку, борода к бороде.

- Не наезжай!
- Ослобони!
- Эх, борода, борода!
- Что тебе моя борода?

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Была борода красная и засивела.

Был ты мужик черный и заовинел.

В конторе все мера и вес. Ты, борода, не подумай положить тут свой завтрак и зазеваться.

– Я, – скажет Коля Кудряш, – думал, ты мне положил.

– Кушайте, кушайте, Николай Николаевич!

Простой малый, свойский, у него нет тут ни граждан, ни товарищей, а просто Ванька да Васька. Сережка да Мишка, весь под стать подобрался народ, спетая компания, ходы и лазы, стороннему ничего не понять, только слышишь отдельное: про нового комиссара, что хороший человек, свойский, такой же прощелыга, как мы – про тюрьму говорят часто, что кому-то надо скоро садиться, да и самим как бы не сесть – что такого-то комиссара смели, но он залег в почту, придет время, забудут, объявится.

– Отлежится!

А то скажет кто-нибудь:

– Нос зачесался!

Пора! – отвечает другой. – И у меня чешется.

Схватятся за носы, у всех до одного чешутся носы. Нос ведет верно: пойман в обмане мужик. Суд мужику короткий:

– Есть?

– Будет!

Гонит мужик скоро в чистик, там на берегу ручейка, начала великой русской реки, горит огонек, над огнем котел, из котла змей капает в чайник, из чайника в бутылку, в карман ее и на суд.

– Ну как вышло?

– Ублагодетворил.

– Что же тебе еще надо?

– Самому губу разъело.

– Эх, борода, борода, была у мужика борода красная и стала борода пестрая, была у быка голова, да черт ей рога дал: ему бы головой думать, а он рогами землю копает – бык, черт да мужик одна партия. Понимаешь ты, борода, мою притчу?

К вечеру уже нет ни одной бороды у нас на дворе, весь оплеванный и не раз уже облитый помоями павлин взлетает на вяз ночевать, в танцевальном зале Культкома между ампирами колоннами загорается дорогой огонек керосиновой лампы и налаживаются актеры играть французский водевиль «Мышь под столом», гармонист испытывает свою гармонь на московский лад, и хор деревенских девушек учится усердно выпевать «кипит наш разум возмущенный», особенно им трудно дается «с интернационалом воскреснет род людской». Даже из города за двадцать верст приезжают сюда танцевать, оттого что в городе простые танцы строго запрещены а разрешают только танцы пластические.

Горе в эти танцевальные ночи Павлинике, ее убивает забота о барском добре, как бы что не стащили последнее, и старуха всю ночь караулит ручки дверей, запечатанные печатью.

Охотно расскажет:

– В одной деревне стояла пустая изба на отлете, и замечают, как и у нас: пляс там бесовский и музыка. Позвали священника. Брызнул батюшка святой водой: «Да

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
воскреснет Бог и расточатся враги его!» И раз, и два, как сказал в третий раз:
«Да воскреснет Бог!» – изба и пошла оседать. Вот и окна под землю ушли, а музыка
все тпрунды, тпрунды. И крыша, и труба – все скрылось, земля травой поросла, а
ухо и по сие время приложишь – все топоток слышен и тук-тук! – копытце о копытце
стучит. Вот и у нас так пусто место останется.

К полночи со всей своей компанией подваливает весь наспиртованный Коля Кудряш,
будет он тут плясать до зари, выжимая икру у девиц.

До зари!

А заря-то бывает какая над озером красная, тихая: тук-тук-тук! – по деревянному
мостику кот пробежит.

Тогда гармония и топот во дворце отдельно от всего мира звучат и с ночью
отходят.

Серым одеялом сваливается ночь в одну сторону. На востоке великие планы
начертаны, стар и мал встань в заутренний час лицом на восток, и все равно у
всех одинаково сложится во всей душе до конца.

Бело и плотно поверх синих лесов над низиной завернулось облако, туман или дым?
– то леший баню топит, моется, и вся тварь его омытая блестит росой.

Журавль неустанно выкликает солнце, и видно по всему, что катится оно, спешит
захватить всю черную силу и покончить с ней навсегда.

Вот оно явилось, исчез остаток бледной луны, и чуть слышен топоток под землей.

Весь серебряный в росе, показался журавль, другой, с огромными крыльями во весь
солнечный диск, летит к нему, сошлись и ликуются. Тогда во всех зарослях в
буйной силе все большие и малые, кто как успел, кто как догадался, твердят:
«Слава, слава».

Солнцу великому слава!

Тут милостью солнца начинается воскресение всякой залежалой твари, каждая
росинка получает отпуск на небо и там, соединяясь в белые, голубые и красные
хороводы, дивит нас всех несказанно.

II МУЗЕЙ УСАДЕБНОГО БЫТА

Весной можно жить с чувством осени, и бывают такие дни почти каждой весной, что
совсем как осенние, только по зеленым листикам и догадываешься о весне, но
осенью нельзя весну видеть в природе, тут уже кончено, простись.

Весной света, в голубом сиянии снегов, и нужно, чтобы в сердце была черная
точка, из нее потом вырастет сила броситься, когда раскипит весенний омут, к
орущим лягушкам и хоть раз в жизни орать дураком со всей тварью, – никогда не
пожалеешь, что бросился в омут к лягушкам.

Кто весну пережил, как весну, тот осенью не будет куковать безнадежно и, если
даже собрать все безумие и осенью броситься... Осенью все в грязь растекается, –
смотришь, поздний голубой василек вертится, приставший на грязи колеса мужицкой
телеги.

Осенью непременно все в грязь растекается.

Но кто весну хорошо пережил, тому осень бодрое время, тот о белой зиме думает,
густо мажет дегтем колеса, и не скрипит его телега, подвозя к дому добро.

Эх, есть и бодрость, и только бы жить, да нет добра!

И скрипят колеса намазанные.

Темной тучей прошумели все наши грачи вместе с галками вечерней зарею по ветру
на юг и, как бабы в Родительскую с кладбища, печально перекликаясь, вернулись
галки: они проводили грачей, грачи улетели.

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Когда улетели грачи, и у нашего павлина осталось уже полхвоста, и все на зиму кое-что припасли, к воротам нашей усадьбы в стоптанных сапогах и котомкой за плечами пришел новый обитатель нашего дома, Алпатов, с ним была старушка и два мальчика, тоже с котомками.

– Не вы ли новый шкраб? – спросили его.

– Да, я школьный работник, и вот мой мандат на музей.

Семью проводили в те уцелевшие от расхищения запечатанные комнаты с надписью «МУЗЕЙ УСАДЕБНОГО БЫТА».

Вы тут замерзнете, – сказала Павлиниха.

Алпатов ответил:

– Нет, бабушка, я не замерзну.

– Ну, а насчет хлеба-то как же, батюшка?

– Как-нибудь.

– Да где же ты достанешь? Ведь тебе не понесут.

Не понесут, почему? Разве за начальство примут?

Павлиниха не так поняла:

– Уважат, – сказала она, – очень просто, примут за начальство и уважат.

Тут же принялся Алпатов все вычищать, переставлять, выбрасывать лишнее, развешивать картины по-своему, то спустится вниз с топором, то поднимется вверх с вязанкой дров и с ведром воды, через неделю все присмотрелись к нему и внутри составленного мнения затаенно стал жить человек.

– Симпатичный, кажется?

Очень уж черен, как медведь.

– А глаза ясные и внимательные.

– Глаза ничего, какой-то Алпатов, вы не слыхали, откуда он?

– В ямщине городской стоял Алпатов, это не родственник ему?

– Едва ли. И как он тут будет жить в холодище, ни поросенка нет, ни картошек, разутый, раздетый, ребята босые.

– Ну, в музее оденутся, там еще много добра.

Конечно, оденутся, без этого теперь не проживешь.

Через месяц Музей усадебного быта открылся. В большом зале вышло очень торжественно, оттого что все лишнее было убрано и правильно были развешаны портреты с Петровской эпохи и до настоящего времени. О каждом выразительном лице был подобран текст из поэтов усадебного быта, из архивных материалов дома, но больше Алпатов сам сочинял всевозможное, смотря кто чем из гостей интересуется.

Колонная гостиная – тоже александровский амбир, уютная комната, вся в миниатюрах, с акварелями, пастелями, офортами, тут есть драгоценный бювар с колонками слоновой кости, всякие старинные шифоньерки, шкафчик с французскими писателями XVIII века. Если нажать одну незаметную пуговку и потянуть за колонку слоновой кости в бюваре, то выдвигается секретный ящик, и там хранится пачка писем к девушке с белым цветком в руке – портрет ее помещен в другую гостиную, эпохи великих реформ. По недостатку мебели амбирной пришлось эту гостиную посвятить шестидесятым годам. Сюда в память Тургенева были собраны портреты интересных женщин, и та девушка с белой розой в руке встречает гостей и только не скажет: «Как хороши, как свежи были розы». Алпатов рассказывает посетителям

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru музея, будто юноша, – портрет его затерялся, – чистый, как Иван-Царевич, любил эту девушку, но она считала себя недостойной его и намекала, чтобы он смотрел проще. Юноше, наоборот, казалось, что она в себе заблуждается, творил себе из нее голубую весну и проще смотреть не хотел. То они сходятся, то расходятся, вот-вот им идти под венец, и вдруг все ужасно кончается: юноша, избрав себе достойнейшую, покончил с собой. Иным посетителям рассказывается, что он был художником, написал этот портрет, всю ее как бы выпил в этой картине, и она покончила с собой, а не он. Был вариант еще, что через десять лет они где-то встретились и, не узнав друг друга, проболтали весь вечер, и, наконец, что она вышла за него замуж, народила ему множество детей, совершенно выпила его как художника, он не создал ни картин, ни богатства, и теперь остатки семьи на голодном пайке занимаются полосканием белья в какой-то больнице.

В охотничьем кабинете было старинное оружие, чучела местных зверей: лося, медведя, рыси, диких коз, – убитых владельцами тут же, в чистике, вся эта комната была зеленая: портьеры, ковры, обои – все зеленое. В этом большом кабинете и устроился жить Алпатов, рассчитывая, что хороший камин спасет его от холода.

Первым пришел сюда генерал с известной фамилией, он служит здесь бухгалтером в совхозе и ухаживает за конторщицей Маргаритой Павловной, и уж нашел себе на старости лет Маргариту! Прибежала как-то в музей и прямо с ходу в кладовую, как крыса в хлам, то ленту выпрашивает, то старую шляпу. Алпатов насилу отвязался от нее, подарив медную кастрюлю – варить генералу картошку. Старику очень плохо живется: невозможно в его положении к пайку подворовывать. Но он и правда честен и верен – верит, что жив царь Николай, пишет все бумаги по-старому и клянется, что умрет с буквой «ять». Конечно, генералу в музее очень понравилось, и особенно красивая девушка в Тургеневской комнате, – «Как хороши, как свежи были розы!» – повторяет он всегда, когда видит ее с белым цветком. Он очень бывает полезен к приезду городских гостей, когда их нужно бывает очень занять, чтобы они думали хорошо о музее, болтали о нем и укрепляли шаткое его положение в революционное время. Пока Алпатов рассказывает в зале, начиная с Петровской эпохи, историю предков своей героини с белым цветком, генерал притаится где-нибудь на гвоздике в Тургеневской комнате, и, когда портреты от рассказа начинают шевелиться в воображении гостей, вдруг один из генералов срывается, оживает и встречает на пороге гостиной, делая ручкой прекрасной даме с белым цветком:

– Как хороши, как свежи были розы!

Кто же не знает этого стихотворения в прозе, оно стало обыкновенно, как яйцо в рюмочке с ломтиком хлеба, и потому вслед за генералом непременно кто-нибудь вздохнет и повторит:

– Да, хороши были розы!

Тогда, чтобы кончить, Алпатов говорит:

– А у нас тут еще есть павлин.

Гости спускаются вниз смотреть на павлина.

– Хвост удивительный!

– Какой удивительный хвост!

– Райская птица! – объясняет Павлиниха и, жалуясь на голод, подговаривается к дополнительному пайку на павлина, а для ремонта музея Алпатов просит мел или алебастр. Смотришь, и получается зерно для музея и алебастр для павлина. Видно, гостям потом кажется павлин музеем, а Музей усадебного быта павлиньим хвостом.

Была еще одна комната в музее, теперь в ней на гигантском пне стоит слепок панतिकопейской вазы с изображением скифа. Эта комната замыслов настоящего музея: от всего, что кажется теперь павлиньим хвостом, останется только Иван-Царевич, и комнаты всего дома будут посвящены безликой таинственной Скифии со спящей красавицей в ожидании своего Ивана-Царевича. Он есть, этот мир, и теперь, нужно только уметь подойти к нему. Потому с радостью встречает Алпатов посетителей из самого простого люда, напоминающих ему древних скифов.

Хороша бывает в музее клюквенная деревенская баба, тут, на блестящем паркетном полу среди зеркал, колонн и картин, женщина моховых болот просто и уверенно скажет:

– Рай!

Ничего ей не нужно рассказывать, повертывайся, и она будет повертываться, нигде ничего она не видит и всюду чувствует рай. Ей и там, в избушке, каждая вещь обыкновенная таинственна, каждое движение природы по солнечному кругу сопровождается освящением водой из двенадцати колодцев и заклинанием. Он, бородатый мужик, думает, будто просто от быка причиняет корова телушку, не зная, что бабушка перед этим прошептала все свои молитвы на воду в бутылку и обрызгала этой водой корову, в Светлое Христово Воскресение с первой с ней похристосовалась и дала ей, как человеку, съесть красное, освященное яйцо. Все это кажется пустяки, но ведь от этого телушка входит в человеческий мир, как своя, особенная телушка, баба назовет ее

Зорька, и телушка выходит из стада. Да, если бы требовалось бы по хозяйству, так баба и муравья бы вызвала из муравейника. Нужно только присмотреться к этому миру, и тогда совсем другое покажется даже в буднях людей образованных, и увидишь, что эти люди словом и внешностью как бы нарочно замазывают свой интересный, действительный мир.

Сколько усилий нужно, чтобы пробудить какой-нибудь отклик в душе образованного посетителя, а баба сама скажет:

– Рай!

И потом всем деревенским бабам:

– В раю была!

Однажды встретился в дверях лицом к лицу с клюквенной женщиной генерал, уступил ей дорогу, извинился:

– Pardon!

– Это по-какому же он сказал? – спросила, уходя, клюквенная баба Алпатова.

– По-французски, – ответил Алпатов. На другой день она явилась с куском сала и привела свою дочку Аришу.

– Научите дочку по-хранцузски, – сказала она, подавая сало.

По-хранцузски за сало принялся учить Алпатов девушку, тут же выведывая от нее сказки, и песни, и причеты священную этого края, присоединяя листок за листком в скифскую комнату.

III СФИНКС

Приходили, случалось, с глазами открытыми, чисто ястребиными, с едва уловимой мелькающей тенью, как у ястреба, если повернуть его к солнцу: эти перебегающие тени – ястребиные воровства и убийства.

За чистыми глазами Алпатов с большой опаской следит: или сворует, или вынет мандат на заранее присмотренную вещь, реквизирует и тоже будто бы для какого-нибудь полезного учреждения. Не доверяя себе, Алпатов в первой комнате на видном месте поставил пустую бутылку с надписью: спирт, если посетитель сразу бросается к бутылке понюхать, правда, не спирт ли, Алпатов готовится к борьбе, если не обратит внимания, – спирт и спирт, – Алпатов начинает просто рассказывать о музее.

Раз налетел вдруг на музей самый страшный из всех комиссаров Персюк, Фомкин брат: в сумерках на выжженных лядях из пней и коряг складываются иногда такие рожи, а тут еще фуражка матросская, из-под нее казацкий чуб – знак русской вольности, а на френче все карманы – знак европейского порядка, и в каждом кармане, кажется, сидит по эсеру, меньшевику, кооператору, купцу, схваченных где-нибудь на ходу под пьяную руку, давно забытых, еле живых там в махорке, с

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
оторванными пуговицами, окурками и всякой дрянью.

Персюк налетел по доносу, может быть, на старуху при павлиньем хвосте, но захватил музей и заревел:

– А кто тут у нас идет против?

Налетал прежде грозный барин на мужика, как лавина обрушивался, а мужик стоит так себе, тербит худенькую бородку и глядит тройным глазом: один глаз улыбается, другой глаз рассчитывает, третий метится в сердце. Чик, чик, чик! – разлетелся мужик на три части, а и опять сложился, стоит как ни в чем не бывало, рыженькую бородку подергивает, и верхний глаз улыбается. Смотришь, уговорил, и графу стыдно себя самого, ласковый, болтает, как малый ребенок, и потом думает: «Русский народ сфинкс». И во сне и наяву потом чудится графу этот неумирающий, ничтожный и чем-то страшный мужик.

Но не так ли просто загадка разгадывается: раб всегда кажется сфинксом господину своему, если господину угодно об этом задуматься.

Вот он стоит, распаленный властитель, глаза, как у Петра Великого при казни стрельцов, раздуваются ноздри, а сфинкс в пиджаке улыбается: там где-то в невидимом третьем глазу он готовит последний суд и ему, и себе.

Человек в пиджаке улыбается: он собирает фольклор, удостоверено печатью и подписью знаменитых революционеров.

– Партийный?

– Собиратель фольклора находится всегда вне партий, и все партии нас почитают за своих, а сам я определяюсь как раб господина своего.

– Товарищ, у нас нет рабов!

– Ну, как нет, и почему же нельзя мне самому определиться рабом, мне так нравится: у раба всегда будущее, а господин всегда в прошлом, в своем роде я футурист.

– А что это «фольклор»?

– Продукт ненормированный, вот комната русских поэтов, тут есть Пушкин, картины хороших мастеров, и я с ними, дитя своего народа, все мы питаемся народным духом. Фольклор – продукт ненормированный.

У страшных людей, как у лютых собак, переход от бешенства к тишине с ушей начинается, и это мило у них выходит, будто «ку-ку» на березе после грома и молнии. В ушах что-то дрогнуло, и Персюк говорит:

– А вы, должно быть, с образованием?

– Мы все учились понемногу.

– Лектор, может быть?

– Кто теперь не лектор.

– Знаете, у нас в партии есть и князя.

– Знаю.

– И графы есть.

– Знаю, а у нас есть, смотрите, Сервантес – испанец, Гете – немец, Шекспир – англичанин, Достоевский – русский, и мне приятно, что русский тоже состоит в интернационале.

– А нет ли у вас происхождения человека от обезьяны, вот что, по-моему, удивительно.

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Дарвин? Есть.

– И доказано окончательно?

– Пока мир не кончился, ничего не может быть окончательного, а все-таки этим долго интересовались, именно, что обезьяна доходит до человека, теперь, кажется, повернули обратно, интересуются, как человек, падая, доходит до обезьяны.

– Каким способом?

– Приходилось вам, выпивая стакан за стаканом, чувствовать себя хуже обезьяны, зато наверху кто-то остается светлый, как ангел, и удивляешься, откуда при всем своем и окружающем безобразии он явился и существует в душе?

Персюк присел в мягкое кресло в вдруг как бы остановился в себе и вспомнил:

– Да, бывало, на море заберешься в канат от офицера, высадишь бутылку враз (...) Стоп! – Запрокинув голову, постучал себя пальцем по горлу. –Есть?

– Только в лампах денатурат.

– Давай лампу.

– Не отравиться бы: медная лампа.

– Давай!

И вливает все четыре лампы в себя трехлетнего настоя меди в спирту. Теперь вон с этого кладбища в парк. Пошатнулся, поправился, шагнул поскорее, опять пошатнулся и еще ходу прибавил, перешел в рысь, как будто нераскрытая в одиночестве мысль сама толкала его тело вперед, остановился на мгновение, посмотрел, не глядит ли кто на него в двери, окна, и – нет никого! – во весь дух мчится по парку через пни, через могилки господских рысистых коней и отличных собак, гигантским скачком взлетел над забором, мелькнули в воздухе две матросские ленты и скрылись.

Куда он бежит, неужели так мчится от светлого видения, промелькнувшего в пьяной его голове? Такого бы непременно надо в музей в скифскую комнату.

Алпатов спускается вниз, долго возится в дровах, тащит наверх большой липовый чурбан и топориком начинает обдирать себе из него комиссара: стук, стук!

IV РАБ ОБЕЗЬЯНИЙ

Стук-стук, – синица в окно капельно-мокрое, и звин-звин! – там в парке, над преющей осенней листвой. С высоких деревьев на малые, с малых на кусты и с кустов на листву падают капли – шепоток по всему лесу идет и гонит зайца из леса в поля, за ним след в след выходит лисица, и волк, подается к дорогам собак ловить. Сам леший теперь мох дерет, обкладывается под корягой и засыпает на долгую зиму, редко открывая свои лесные глаза. Куда же синичке деваться? Стук-стук! – носом в капельно-мокрое стекло.

Круглой стамеской у окна Алпатов работает по липе, и мало-помалу означаются на дереве страшные глаза Петра Великого, стиснутые губы и бритый подбородок увлекает стремительно вперед, беспокойно, неудержимо все вперед и вперед, как будто при остановке он скоро пачкает землю и надо спешить на новые места, – не такое ли движение по шири земной было всего русского народа и не это ли значит его неумолкаемый крик: «Земли, земли!»

Сколько мыслей так проходит зачем-то, пока стамеска выделяет бугорки и ямки на липе, – зачем? Одни приходятся к делу, и, может быть, согласная душа в путях стамески отгадает мысль, тут закрепленную? Но другие так проходят потоком, и не узнать в них хозяина, и ввериться им и резнуть по дереву опасно – не свое, поток просто переходит через него куда-то к другому.

Вспоминается ему жаркий полдень в траве у водосточной трубы, не хочется встать, и неловко смотреть, как его упрямый приятель мучится над большим самоваром и, раздувая, хочет поставить его без трубы. Ленивый, протягивает к желобу руку, колено трубы поворачивается, самовар к ней приходится и сразу гудит, как завод.

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Так не труд, а лень, как избыток отдыха, освободила от работы, и оба приятеля могут теперь лежать в траве и болтать. Но почему же говорят теперь: «Кто не работает, тот не ест», – как в детстве говорили, что лень мать всех пороков. Видно, не всякая работа ценна и не всякая лень порочна. Бывает, одно таинственное мгновение, как промелькнувшее воспоминание о светлом, всемогущем существе человека, – и раб в один миг освобождается и других освобождает от подневольной работы. Но тут же этот освобожденный и обогативший презрительно говорит своему бедному соседу:

«Дураков работа любит». Человекоподобная обезьяна хитрая понимает, что все дело тут в светлой и редкой минуте воспоминания человека о себе самом: «Дайте мне время, – говорит обезьяна, – и я со ступеньки на ступеньку доберусь до человека и буду как человек, время и труд все перетрут». Проходит век за веком, и вот уже пишут историю происхождения человека от обезьяны, и маленький мальчик с восторгом прибегает из школы – великую радостную новость узнал: человек происходит от обезьяны. И так человек стал рабом умственно численному существу обезьяны.

– И я раб обезьяний, раб, ожидающий воскресения себя из числа.

V КАЗЕННЫЙ СУНДУК

Стук-стук! – опять синичка в окно, просит тепла и уюта маленькое изящное существо, ей бы плюшу зеленого на юбочку, черный бантик на шею, два-три танца выучить на клавиатурах и несколько необходимых слов по-французски.

Стук-стук! – по-настоящему.

Входит Ариша учить французский язык. Трудно заставить дикую девушку спрягать в прошедшем времени неприлично звучащий по-русски французский глагол потерять.

Ариша шалью покрывается и там умирает.

Выкажет нос из-под шали.

– Я потеряла.

– Это по-русски, а по-французски?

– По-французски – не знаю.

– Ну так будем заниматься по-русски. Начинается охота за именами. Есть и теперь перекрестки дорог, где Ариша скажет, не понимая почему, чур меня, ей нужно объяснить, что так она вспоминает своего далекого родоначальника щура, или пращура, что она и теперь живет интересами своего рода, раскиданного по разным деревням, имена деревень ее рода таят в себе миф, быль и сказ: в Яриловке почитали бога Ярилу, Волочек был когда-то местом, где славяне волоком тащили свои суда. Кудеяровка была станом Кудеяра-разбойника. Не просто даются имена и животным, и растениям, все обживает и очеловечивается, даже всякий камень обжитый имеет свое отдельное имя. Скажешь имя, и животное выходит из стада, а что из стада пришло, то имеет лицо отдельное, оттого что его вызвала из стада человеческая сила любви различающей, заложенная в имени. Будем же записывать имена деревень, животных, ручьев, камней, трав и под каждым именем писать миф, быль и сказ, песенку, и над всеми земными именами поставим святое имя Богородицы: это она прядет пряжу на всех зайцев, лисиц и куниц. Все это нужно нам, чтобы не стать обезьянами и вызвать в себе силу на борьбу с ней. Эта сила у солнца называется светом, и свет солнца в душе человека есть любовь различающая. В согласии с солнцем, с любовью и светом мы можем войти так в природу, что возле муравейника скажем имя знакомого, и тот муравей отложит дела и на минуточку выбежит поздороваться.

– Ну, что, Ариша, разве это не лучше «хранцузского»? Но трудно в одиночестве бороться с силой французского, и, видно, так уже заложено в душу, что нужно оторваться и поблудить во французском, чтобы вернуться на свою святую родину.

В классе, на миру, дело идет много успешнее. Там пишется одно сочинение. «Чистик – мать великой русской реки», каждый избрал свое любимое имя и пишет о нем свой сказ, после все эти свободные капли сольются и река побежит.

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
И тогда весной, когда высоко поднимутся травы, украшенные изображением солнца, мы встретим мир природы новым и прекрасным и, как первые люди в раю, будем давать любимым животным, растениям, камням свои имена.

Есть ли на свете дело лучше учителя в школе?

Глаза, как звезды, горят в ожидании слова. Есть застенчивые, любопытные и от слова, ширясь, выходят, светят и чуть-чуть дрожат. Есть твердые, ничем не собьешь, стоят на своем и светят почтительно. И такие, что чуть что – отскочат и светят с задней скамейки лукаво, а то и вовсе потухнут. Но учителю не за ними надо следить, а за своими словами: сила слова убыла, значит, где-то потухла звезда, скорей туда, ищи – где? – вон там! – и туда, в эти глаза лукавые, говори, смейся, удивляй, пока там снова не вспыхнет звезда.

Да, если бы у нас мало-мальски было согласие, то каждый за великое счастье считал бы добровольно пробыть хоть один год учителем, на всю жизнь в черной беде это дело будет гореть ему святой путеводной звездой.

Так думает Алпатов, возвращаясь к себе наверх из школы по лестнице с огромной вязанкой дров на спине. А дома, беседуя с бабушкой, его дожидается богатая баба: слышала, здесь продается ротонда. Увидела учителя с вязанкой дров, и ах! – тужить, кого-то бранить, что вот до чего довели, учитель, и сам носит дрова. Неискренняя богатая баба: хорошо еще, если ей все равно, а скорее всего ей приятно, что она богатая так сидит, а образованный носит дрова. Но самому учителю даже и в голову не приходило подумать, что дрова носить ему нехорошо. Хлопнув вязанку возле печки, он надевает ротонду своей покойной сестры, хвалит воротник и особенно цвет:

– Бордо.

Предлагает музейный лорнет и усаживает в мягкое зеленое кресло.

Обезьянка, смеясь, смотрит в лорнет на бордо.

– Кровяный цвет, нет ли другого?

– Кровяный в моде.

– Я ищу небного цвета ротонду.

– Голубого нет.

Нет! Вот сундук она бы взяла.

– Казенный сундук.

– Пустой стоит, не записан?

– Мало ли что: казенный.

Дает три пуда муки или пуд сала, на прибавку дичь.

– Какую дичь?

– Гуся.

О, Боже мой, как хочется гуся!

Дрянный сундук, не нужен музею, и сколько он этого хлама выбрасывал в коридор на общее расхищение, а сундук продать нельзя, в него засел принцип казенный. Все крестьяне зарятся на этот сундук, он повсюду известен, и продай его, он, Алпатов, будет в согласии со всей лесной обезьяной. Но нельзя быть согласным с русской лесной обезьяной. Идеальная обезьяна та понимает внешнюю сторону и достигает идеала своей работой, изменяет, подчищает, сортирует, вычисляет и небольшую хотя сумму отпускает на дело истинного творчества жизни, сознавая все-таки, что она – обезьяна, и доходит до жизни, но не она творит жизнь. А лесная психологическая обезьяна так схватывает сущность творческого человека: тот не работает мускульно, а только пишет на белой бумаге, читает, учит, и ей

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
кажется это очень легко и приятно.

Отчего это? Оттого, что она живет стаями в своем лесу и эта стая называется ложно община, мир, как ложно этой же стаями понимается слово «коммуна» не как собор, а как легион. В стае работают все горбом, носят, возят все на себе, тут не признают машины, выдумки, мерой творческого процесса считают пуд муки, добытый обреченностью на бытие, где телушка много дороже ребенка, где праздник, если отелится корова телушкой, и горе, если женщина родит девочку. Тут добывается пуд, страшный, как смерть, оттого что все, кроме этого пуда, считается хитростью.

Во вшивом поезде, несущем заразу и смерть, пуд едет по всей Руси и определяет собой все бытие, и это бытие – зараза и смерть животная. Из-под чугушной тяжести веков вырвался этот пуд на один какой-то миг и только для того, чтобы опозорить крест человека: пуд обращается в бархат, в ротонду, в шкаф величиной в пол-избы. И этот же пуд обращает коммуно-собор в легион.

Оказывается, что в конце концов психологическая обезьяна презирает работу и, если ей дать волю, человек покроется шерстью. Сознание полное, что психологическая обезьяна учителю страшнее идейной, но почему же так тянет неудержимо, назло идейной, продать родной обезьяне казенный сундук? «Возьму и продам!» – и уже хочет бежать по лестнице догонять обезьяну, и в голове уже план сложился запросить на прибавку второго хотя бы небольшого гуся, и если гуся не даст, утку или, может быть, курицу. Поймав себя на курице, Алпатов вслух сказал: «Проклятый сундук!» – и топором принялся рубить его, выбирая драгоценные гвозди, и дерево, отлично сухое и березовое, драть на лучину.

И, раздирая лучину, он отпускает грехи всем русским ворами: они не знают, что делают.

Стало вольно, будто поел, в одну минуту из липы, как живой, вышел фомкин брат, в темя ему три гвоздя, и получается прекрасный подстав для лучины: светец.

Смеркается. Музейные звери погружаются в мрак, голова козочки исчезла над книжной полкой, зевнул, исчезая, волчище, медведь насупился, и живой ежик в ожидании восхода луны – свет лучины ему луной представляется – шевельнулся в углу под газетой.

Время огонь вырубать куском подпилка из яшмовой ручки печати. От искры тлеет фитиль, теперь дуть на угли, разжигать их, пока во рту не запахнет копченым сигом, и последнее – к горящим углям приставить тончайшую лучину, подуть с силой и вздуть огонь. Крошечный огонек из пузырька от карболовой кислоты, – по козе канун, называет его бабушка, – светит временно, пока не разгорится лучина, воткнутая в голову болвана, фомкина брата. Остается поставить тарелку с водой для падающих от лучины углей, и вот – бездомный в вечном движении, с горящим факелом на голове из разбитого казенного сундука, неколебимо стоит Персюк-болван, фомкин брат, освещая жизнь нового Робинзона Крузо на каком-то необитаемом людьми цивилизованном острове.

Быть может, и он, Робинзон, когда-то бежал неудержимо вперед, как Персюк, но корабль разбился, и на диком острове есть одно только желание: вернуться к берегу святой своей родины.

После немецкого урока за постное масло Коле, Комиссарову сыну, Алпатов мечтает, что переживет трудное время на своем острове, выдолбит себе к весне лодочку и на ней пустится к людям, рассказывать о своих необыкновенных приключениях в девятнадцатом году XX века. В это время ежик из-под газеты увидел луны, – свет лучины ежику луной представляется, – он бежит к своему озеру напиться воды, а озеро это чайное блюдечко, потом катится, потутукивая и пофыркивая на туман, выходящий из трубки Хозяина, тут возле от века неподвижных деревьев – ног Хозяина лежит много сухой листы для гнезда, и, с трудом приладившись, ежик тащит целую газету в гнездо.

Так вот и Ариша тащит себе в гнездо французский язык, Коля комиссаров – немецкий, богатая баба – ротонду небного цвета, и всякий цивилизованный человек творения культурные себе на пользу в гнездо, не воображая себе, что этот собираемый ими человек может зашевелиться, и они вмиг разбегутся.

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Двинул ногами – деревья пошли! Ежик свернулся, заколючился, страшно фыркая, будто началось светопреставление.

– Батюшки! – всплеснула руками старушка, узнавая в лучине казенный сундук. – Что же ты наделал!

– Сундук не нужен.

– За него бы нам дали три пуда.

– Нельзя же продавать казенный сундук.

– Отчего же нельзя, если не нужен?

– Оттого, что казенный сундук можно разбить, но не продать.

– Совсем ты, батюшка, одурел тут в музее, оглянись, посмотри на себя, до чего ты дошел, ведь хуже маленького стал, сундук на лучину разбил.

– Бабушка, остановитесь.

– Нет, внучек, не останавлиюсь, что же ты думаешь, что я машина, взял да остановил, нет, я тебе не машина, у меня тоже душа живая и болит: зарос, как медведь, ну на что ты похож!

«Шерсть как будто, правда, начинает расти», – думает Алпатов и вспоминает, как он завел себе поросенка и он от голоду весь пошел в шерсть и щетину.

– Нет, батюшка, не останавлиюсь, не на такую напал.

– Не нападаю я на вас, вы сами на меня нападаете.

– Зачем же ты разбил сундук, его люди наживали, хранили, а ты – на вот! – и разбил, что же это, мало тебе березы, взял бы полено, положил на печь, подсушил.

– Ради Бога, остановитесь, мне нужно тетрадки поправлять.

– А на что их поправлять, какая от этого польза?

Алпатов молчит и обдумывает, с какой стороны взять бабушку и обмануть. Есть две линии, житейская – сказать, что Кузьма сватается к Тане, или Кузьма женился на Тане, или Таня родила, а другая линия – показать в окошко на месяц, к чему это вышел такой большой месяц, или вот звезда блестит ярко, не к морозу ли? «И пора, – скажет, – пора, слякоть хуже всего». Глядишь, бабушка и обманулась.

Но в этот раз никакой подход и даже молитва бабушку не остановит, у нее от холодной воды пошли нарывы на пальцах, и старуха опасается, не точит ли ее волосатик. Ее точит волосатик, она точит внука, капель точит камень. С высоких деревьев падают капли на малые, с малых на кусты, с кустов на прелую листву, шепоток идет на весь лес, и безумно мчит заяц в поля, за ним след в след выходит лисица, и волк подается к дорогам собак ловить.

VI ЧАН

Капля падает с мезонина на крышу и с крыши на камень, каждый раз с уколом выговаривая в душу бессонного: «Я – маленький».

Все, что говорится на уроках, в будущем непременно так и станет, над всем черным хаосом восторгается имя святое, и я мог бы даже верно начертать этот путь, но никто сейчас не будет меня слушать, время еще не пришло, и оттого остается это я – маленький, и каждая капля, падающая с мезонина на крышу, с крыши на камень, повторяет, мерно прокалывая, как иголкой, душу: «Я – маленький».

– Если бы ты был большой, – говорит капель, – то спас бы весь этот черный, погибающий в обезьянстве люд.

– Если ты большой, сойди с креста, спаси себя и нас.

Вот ведь что выговаривает эта мерная капель, размывая годами камень под желобом.

Да, есть какая-то сила, более страшная, чем обыкновенный голод: тот разлагает тело, а эта капель и самый дух подтачивает, и все бегут с креста, и сам Христос висит на кресте бессильный и маленький.

– Если ты Бог, спаси себя и нас, – говорит уже не разбойник один, а миллионы мертвых в гробах и мертвых в живых, накопившихся за две тысячи лет ожидания.

И все бегут с креста, одни бунтуют и бесчинствуя, другие просто забываясь в хозяйстве: кто заводит свинью, кто корову, кто копается весь день в огороде, лишь бы не думать. И, может, хорошо еще, что есть голод, он спасает от думы, умирляет и оттягивает время. Даже Алпатову голод подсказал эту мысль о волках: теперь всюду развелось много волков, крестьяне ежедневно лишаются много скота, и если заняться этим делом, бить волков, то, наверно, за это хорошо будут платить, и не нужно будет заниматься по-немецки за ворованное постное масло. Сразу капель, как болезнь, отошла, и когда он вышел из дому для волчьей разведки, то и дурной погоды не было, она осталась в комнате: дурной погоды не бывает в природе, ее выдумали дачники.

Ночной путь в чистик провешен от одной знакомой березы до другой на угол канав, прямо к зарослям, и тут Алпатов воет по-волчьему. Несмело отзывается матерый, укрепился, завыли переярки, прибылые, и все болото воет осенью под черным небом.

О, господи, жуть голодная, и как сносит ее человек, и как шерсть не растет у него, как у волка, от голода и не уходят в мягкую шерсть и острые зубы вся мысль его и надежда.

Шарахнулась стреноженная лошадь и запрыгала куда-то, может быть, прямо в зубы волкам. Хозяин ее фомка, разведчик армии бандитов барона Кыш, перед этим учуял запах дымка и, зная, в чем тут (дело), оставил ее погастись, а сам идет все по ручью. Вот огонек показался, и в зареве там люди мелькают, хлопчут о чем-то. Фомка вынимает из-за пояса топор и стучит им о пень, будто рубит жердь. Там услышали самогонщики и говорят тихонечко между собой:

– Кого-то Бог посылает?

В такую-то осеннюю ночь и в зарослях чистика кто станет искать самогонщиков, разве только враг ведет комиссара, но врагов теперь нет у мельника Азара, и враг не подходит со стуком. Тут собрались: Азар с волчьей мельницы – по случаю крестин сготовил завар в три пуда; гонит Чугунок, его вся посуда, и знание дела, и хлопоты, тут же помогают три музыканта: гармонист, балалайка и скрипка; Илюха – солдат императорской гвардии и австриец Стефан, работник на мельнице, печальный и такой несчастный, что даже собственное имя его Стефан не держится, и все зовут его почему-то из жалости Яшею. Крестины будут веселые, с музыкантами, и поутру, Бог даст, Азар выпьет в лесу и прямо музыку пустит – ему бояться нечего, мельник, все начальники давно куплены.

Кто же это может теперь подходить?

Случай такой был:

– Показался человек на болоте, маячит и маячит во мхах, и там есть одна-единственная сосенка, подходит к ней, наклоняется, копает, взваливает на плечи мешок и опять замаячил, а под сосной яма осталась, ну, что это? Азар знает, что это:

– Барон Кыш, это он за пищей ходил. Там у него есть остров верст на восемьдесят вокруг в болотах, разные ямы, мужики носят пищу в ямы, у него есть лозунг с мужиками на пути демократическом и прогрессивном.

– Так не барон ли и теперь к нам является?

– И очень просто, слышь, опять постукивает.

– Ну, барон так не ходит, тот сразу раздвинет кусты:

«Наливайте!» – выпьет стакан, другой и: «Прощайте, кланяется вам барон Кыш!»

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Все спорят между собой: одни, что Кыш настоящий барон, другие, что Кыш из нашего брата, третьи, что Кыш – есть звук и притча. Верно знает только Азар:

– Категорически заявляю, барон Кыш попов сын и ученый человек, семинарию кончил, а в консистории ему отказали. «Ладно, – говорит, – коли вы меня не принимаете, я отцовскую хитрость разовью на пути демократическом и прогрессивном для бедного человека». Вот кто барон Кыш.

– Ежели он на пути демократическом, – спросил гармонист, – то почему же он барон называется?

– Отчего тоже называется Князь Серебряный, какой он князь, такой же мужик, как и мы, жил недалеко на хуторе, захотел воли и стал князь. Так и Кыш, любитель в карты играть, когда выигрывает, говорит: «Я теперь барон», – а проигрывает: «Кшш...» И стал барон Кыш, значит, страх; «Кшш, вороны!» – крикнет, красные разбегутся, он заберет, что ему нужно, и – кони какие у него! – летит через изгороди, через канавы, как по ровной дороге, у леса остановился, шапку снял, и до свиданья.

Так беседуют между собой самогонщики, а топорик все ближе и ближе постукивает, вот и человек показался, и видит он огонь и людей, а все будто не видит и жерди рубит, так уж всегда полагается подходить к чужому вину.

Ладно, ладно, иди!

И вдруг это Фомка.

– Ай, ты жив?

– Жив.

И поднимает рубашку, а там против сердца рубец вершок шириной.

– Кто же это тебя так чкнул?

– Персюк, родной брат.

– Ну, Персюк и отца родного чкнет.

– А думаешь, я его не чкну?

– Чкнешь и ты, а мы сидим, все дожидаемся, когда у вас дело кончится.

– Когда кончится? я отвечу вам: когда у нас не будет статуя.

– Какого статуя?

– Какого?

Вдруг в это время на манку отозвался матерый, прибылые, переярки, завыло болото, и Фомка бежит, улюлюкает, спасает коня.

Все дело испортил Алпатову.

– Стой, куда ты бежишь, чего ты орешь?

– Коня потерял.

– Вот твоя лошадь.

Устроив коня поближе к огню, Алпатов с Фомкой подошли к самогонщикам, и учителю, редкому гостю, там очень обрадовались. Простой на разговоры с лесными своими предками, Алпатов тут же поделился своей затеей добывать себе пропитание волчьим делом, оттого что в школе пайка не дают (...)

Азар сказал:

– Категорически вам сочувствую, потому что взять вам нечего, и мысль ваша правильная, волков бить необходимо, дело очень полезное.

Гармонист:

Волки одолели деревню, через Полом дорога стала вовсе непроезжая.

Скрипач:

И через Кудеяровку.

Балалайка:

– А в Кудеяровке волки с гривами.

– Будет брехать, – оборвал Чугунок Балалайку, – волки обыкновенные, только вот что я вам скажу, был ли такой, кто от волков разживался?

– Не разжиться, а только бы просуществовать.

– И существовать от волков невозможно, я вам советую бросить учительство и поступить писарем в совхоз или колхоз.

Азар плюнул:

– Бросьте и совхозы, и колхозы, иди, брат, в темную.

– Куда же еще темнее, весь во тьме сижу.

– В темноте сидите, это я сочувствую вам, а сами смотрите светлыми очами на мир, вы сами идите в темную.

Фомка вмешался:

– Вы охотник, стрелок и учитель, вам самый правильный путь к нам: барон Кыш был тоже учителем.

– На что же вам нужен учитель?

– Образованный человек нужен на каждом месте, нам нужно статуя свалить.

– Красных?

– Ну да, и красных, и белых, бей всякого статуя.

– Другого назначат.

– Вы другого, он третьего.

– Чем же мы кончим?

– Кончим чем? Чтобы нет никого и никаких.

– Сидит же у вас барон Кыш?

– Кыш это звук, и я Кыш, и вы Кыш, это все звук: Кыш – и нет никого, и никаких.

Подумав про себя: «Новая запорожская сечь возвращается, как вернулась лучина, и при лучине вспомнили старинные песни».

Алпатов сказал:

– Это воля, я свое отгулял, мне бы хотелось свободы.

– Самая и есть наша свобода.

– Нет, свободный в законе живет, и ему нельзя убивать.

– Ну, отчего же нельзя, это вас не задевало, а дай-ка вас чкнут, как меня. – Фомка опять приподнял рубашку. – Вот как меня чкнул Персук, родной брат, что же,

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
мне его так оставить?

– Почему же не оставить, взять да отвернуться в другую сторону.

– Эх, брат, – вмешался снова Азар, – сам я был раньше охотником и светлыми очами глядел на мир, а вот теперь обсеменился и смотрю в темную. Подожди немного, вот только выпьем, и научу. Ну, за работу живее, Яша, тащи воды.

Поставили на огонь котел и налили туда из бочки завар, на котел вверх дном насадили бочонок и примазали глиной. В дырочку дна вставили трубку и тоже примазали, а гнутый конец трубки, змеевик, опустили в бочку с холодной водой, выпустили вниз конец и сюда чайник подставили для собирания жидкого хлеба.

Устроились и сидят в ожидании, тихо между собою о былом беседуют ветераны великой войны Илюха, гвардеец, и Яша, австрийский солдат.

Илюха говорит:

– Ваши Сан переходят, я за деревом, и как только ваши на мост, я тюк! – в голову, и он брык! – в воду: семь голов насчитал, занятно!

– А помнишь, тут был аэроплан?

– Как же, наш забрал кверху и ну вашего поливать из пулемета, потом ваш забрал и нашего, и наш опять забрал, а ваш заковылял.

– Куда он упал, к нашим или вашим?

– Промеж наших и ваших.

– Вот какие друзья стали, – сказал Фомке Алпатов, – а ведь тоже убивали и были врагами.

– Врагов не было, – ответил Илья, – теперь только и поняли, кто наши враги.

– Кто?

Известно кто: капиталисты.

Яша вздохнул:

А какое государство-то было.

Илья:

И все в прах!

Балалайка:

Вдрызг!

Гармонист и скрипач:

– Вдрызг, в прах и распрах!

Чугунок задумался и с большим любопытством обернулся к учителю спросить, как все спрашивали друг друга на Руси в это смутное время, загадывая загадку о том, как и когда все это кончится.

– Погадать надо на картах, – ответил Алпатов.

– Что вы гадалкой бросаетесь, – схватился Азар, – вы думаете, гадалки не знают? Под Москвой есть одна Марфуша (...) Молот и серп вышел у Марфуши (...) Понимаете? А очень просто, ну-ка, бумажку, учитель, вот серп и молот, читайте: «Толомипрес».

– Что же это такое?

– То-ло-ми-прес.

– Понимаю, – сказал Алпатов.

– Ну, ну!

– Как при Навуходоносоре, рука написала на стене, и никто не мог понять, гадалка намекнула на конец Навуходоносора.

– Нет не то, вот как надо писать: «Молот серп», – читай теперь, как кончится.

– Престолом.

– Вот престолом и кончится.

– Значит, царем?

– Зачем царем, может быть, президентом.

Гадалка же сказала: престолом.

С вожделием ответил Азар:

– А у президента, думаешь, престола нет, у президента, может быть, престол-то почище царского.

– По мне, – вырвался Фомка, – все единственно, царь, президент или брат мой Персюк – статуи.

– Надо же кому-нибудь управлять государством.

– Управляющий один должен быть – барон Кыш: «Кшш, вороны!» – и нет никого и никаких.

Кшш! – сказал Чугунок. – Будто воздух не тот?

Понюхали воздух из трубки.

– Скоро пойдет. И все повеселели.

Сова просто летела и вдруг, заметив огонь, бочку, людей, ужасно шарахнулась.

– Рано! – сказали ей вслед. – Прилетай, когда побежит.

Развеселился Азар:

– А что вы думаете, животные не понимают, животные все понимают, лошадь пьяная бежит, корова прыгает, свинья повернется, поцелуется и ляжет – все это есть у них, как у нас.

– Где же ты пьяных свиней видал?

– Рогач, помнишь, злейший был мой враг. Я тогда в бане у себя самогонку варил. «Кидай все! – кричит. – Рогач комиссаров ведет!» Я живо распорядился: посуду в лес, завар свиньям. Приезжают – свиньи пляшут. Покосились гости на свиней и велят показывать. Туда-сюда, нет ничего. «А что же у тебя свиньи такие?» – «Это, – говорю, – ученые свиньи». – «Как ученые?» – «А вот смотрите». Свиньи шатаются, свиньи плачут, перед истинным Богом говорю, на глазах слезы, и одна повалилась, другая рылом ее в зад поцеловала, и все полегли, как поленница. «Это, – говорю, – ученые свиньи: гости приехали – пляшут, радуются, гости уезжают, свиньи мои плачут». Вот вам про свиней, а как лошадь, корова, баран, можно сказать, всякая тварь, это было в другой раз.

– Стой, капнуло!

– Полегче огонь!

– Пошла!

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Сливая весело в четверть чайник за чайником самый крепкий первак, Азар рассказывает:

– Это было в Полеме, за мельницей, у глухого ручья. Завар был на весь Исполком. Сидим тоже, как здесь, тихо беседуем. Первак прошел весь, другак начинается – и на тебе, здравствуйте! Рогач, подлец, тащит ко мне пять комиссаров. Старший комиссар, умнейший пес, велит мне строго: «Наливай стакан, наливай другой!» Дает один Рогачу, другой мне: «Пейте!» Зверями лютыми посмотрели мы, а выпить выпили. Теперь велит: «Миритесь!» – «Не желаем!» – «Пейте по другому!» Выпили по другому. «Миритесь!» – «Издыхну, – отвечаю, – а не помирюсь!» И Рогач тоже говорит: «Издыхну, а не помирюсь». – «Ну, так издыхайте, пейте по третьему». И так у нас шло до пятого; как выпили мы по пятому, глянули в морды. «Друг мой любезный, братец мой родимый!» – и целоваться и обниматься. «Ну, – говорю, – судьи праведные, за прогрессивную жизнь катая весь завар». И пили мы тут за жизнь прогрессивную и за демократическую и за поповскую хитрость. Было тут великое ликование, весь Полем гудел. Землемер приехал на лошади с астролябией. Пил землемер, и лошадь его пила, и астролябия, корова пила и баран пил, и лег пастух рядом с бараном. Не помню уж, сколько времени была тишина, голову подымаю, и баран с другого конца подымает и так умненько на меня смотрит, а все лежат, как сила побитая.

Кончив рассказ, хозяин первый стакан пригубил, перебрал губой, собрал дух в одну точку и, туда, внутрь, заглянув своим глазом, уверился, осушил, сморщился, зашипел, будто двенадцать змей проглотил, потом плюнул, крикнул и, просияв, сказал:

– Хороша!

Не первый уже раз пробовал Алпатов этот ужасный напиток, но все-таки страх охватывал его перед каждым стаканом: это не рюмка водки, это большой чайный стакан такого вонючего спирта, что, кажется, лес далеко вокруг пахнет внутренностью волостного комиссара, и этот стакан выпивается при общем напряженном внимании, отмечающем всякую подробность лица. Кажется, свергаешься в огромный кипящий чан, заваренный богом черного передела русской земли. В том чану вертятся и крутятся черные люди со всем своим скарбом вонючим и грязным, не разуваясь, не раздеваясь, с портянками, штанинами, там лапоть, там юбка, там хвост, там рога, и черт, и бык, и мужик, и баба варит ребенка своего в чугуне, и мальчик целится отцу своему прямо в висок, и все это называется мир.

Рассудить, кажется, просто: не из-за чего кипеть в одном котле, разойтись на отдельную жизнь, и всем будет хорошо. Рассудить – так просто все кажется, а спросись тут у самой Богородицы в судьи, спустись с Архангелом по веревочке в варево – ничего не выйдет: баба, оказывается, не сама посадила в чугуна ребеночка, а это черт ее надоумил; Боже сохрани, да разве она не мать дитю своему, а черт и не отказывается, на то он черт, а бык просто ревет, с быка взять нечего, и свидетели все в один голос посоветуют одалиться и не упреждать времена, придет час Божий и все осветит.

Всякий суд отстраняется, все крутится и орет от злости и боли, жара и холода, вдруг на одну только минуту отдышка, и все это вместе – и бык, и черт, и мужик, и баба вылезает на край чана под солнышко, наскоро обтираются, обсушиваются, закусывают, закуривают и благодарят Создателя за дивную его премудрость на земле, на небе и на водах. Безделицу тут им покажи, какую-нибудь зажигалку чикни, и сколько тут будет удивления, неожиданных мыслей, слов, тут же рожденных, веселья самого искреннего, задушевного, пока старший не крикнет: «Ребята, в чан!» «Стой!» – где-то услышишь один голос в многомиллионном народе – и все опять завертится, только голос соседа услышишь в утешение: «Это, брат, безобидно, всем одинаково».

– Ну, как? – спросил Азар.

– Хороша! – ответил Алпатов, брызнув остатки спирта из стакана в огонь. Синее пламя вспыхнуло и свидетельствовало, что сын народа причастился его горькой и подчас веселой судьбе.

– Я, брат, научу тебя теперь, потому как взять тебе нечего, и я сочувствую, сундук этот пустой я сам за три пуда возьму.

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Нет, сундук не продам, нет ли какого другого пути?

– Другого? – подумал Азар, – есть и другой, вот бородавки отчего-то пошли у коров на сиськах, человек ты ученый, заговоры тебе все известны, записочку бабе дашь, она тебя с удовольствием убоготорит.

«Я как будто чувствую себя виноватым перед ними, – думал Алпатов, отходя от костра, – будто извиняюсь, живя с ворами, за свою честность, что не могу нашептывать заговоры от коровьих бородавок, продавать казенное добро».

Что-то хрустнуло у него под ногами. Неужели первый мороз? Опять хрустнуло – болотные мелкие лужи схвачены. Небо лунело на востоке перед рассветом. Далеко в полях шальная деревенская гончая затыкала по зайцу.

«А как же другие, – продолжал размышлять Алпатов, все подвигаясь к тому месту, где ночью отзывались волки, – как они гордятся своей честностью и чистотой?» Пересмотрев эти знакомые лица, Алпатов сказал: «У них добродушный ум и неумное сердце, а моя виноватость от страха испить до конца всю эту чашу мирскую».

Лай гончей все приближался. Небо оказалось при рассвете покрытым двойными сердитыми снежноносными облаками, верхние стояли, нижние очень быстро неслись.

На холме показался русак. Алпатов присел за куст можжевельника и думал, что русак теперь отъелся на зеленях, его можно изжарить на своем жиру или променять у Цейтлина фунтов на пять муки. Заяц, не добежав к охотнику, скинулся, еще раз скинулся и глухо залег в другом кусту можжевельника. Скоро показалась и гончая, она не сбилась на сметках, но вдруг оборвала свой гончий лай, поджала хвост – волка учуяла, он тоже за третьим кустом можжевельника прилег и дожидался собаки, как охотник зайца. Вдруг, как мяч, выскочил заяц, гончая не выдержала, кинулась, и за ней кинулся волк, огромный волчище на сажень подпрыгнул после выстрела, грохнулся, дергая задними ногами, будто все еще во весь дух неся за лающей по зайцу собакой.

Теперь кажется Алпатову, что он нашел свое счастье, теперь он будет постоянно заниматься волками, как делом, и ему не нужно будет давать ненавистные уроки за постное масло, продавать казенные сундуки и заговаривать бородавки коровам.

Через оранжевые, быстро бегущие облака солнце золотит верхушки берез недалекого холма – еще не все березки отряхнули свои золотые листочки, есть еще золото в лесу и на нашу долю! И не понимает охотник от счастья, что просил его убить волка тот, у которого он зарезал скотину, а все, у кого благополучно, не будут платить за несчастного, поговорят на сходе, пообещаются, и непременно еще тут вывернется какой-нибудь хромой и поведет свой голос к тому, что нельзя ли шкуру волка отобрать в пользу общества, а то ведь на крестьянской земле убит волк. Не понимает охотник, что ему надо поймать в капкан самую лютую волчицу – истребительницу, известную всем, принести ухо на сход, и – вот вам ухо, давайте муку, а то выпущу. Не знает охотник, что сегодня же на крестинах Азар от всего сердца будет уговаривать его продать казенный сундук и что дочка его Ариша, урвавшись в кладовую, отрежет ему кусочек сала и с пирогом потихоньку уложит в карман пальто.

Так будет скоро, но сейчас восходит полузимнее солнце, желтое, быстро бегущие облака открывают там и тут просвет лучам: вот тень закрыла березы на первом холме, но зато открылась золотая гряда на другом, и эта скоро потемнела, зато зимней спячкой засыпающий Пан открыл свои голубые глаза, и через них дальше явилась волшебная полянка, и одна золотая березка несмело отошла от своих вперед на поляну и расстилает навстречу морозу белые холсты на лугу.

VII КИСЛАЯ КАПУСТА

Солнце встает теперь в морозной хмари, иногда бледное, как луна, мхи с налитыми в них лужами застылой воды сверкают, как сотни окон, на березах показались ведьмины метлы, и на опушки стаями вылетают из леса краснобровые черные птицы. Иногда порхнет снежок, вот-вот ляжет зима, вот-вот станет река, но это все еще зазимок, враз потеплеет, и живая земля, как старуха, вслух говорит: «Поскорей бы Господь прибрал», – а втайне дорожит каждым днем.

Хуже всего, когда ветер дует по холодной, стылой земле и мчит пыль, и солнце через быстро бегущие облака желтым глазом смущенно заглянет, как будто робея

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
встретиться со злущей своей старухой землей.

Ворчит бабушка день и ночь на своего внука, что завез ее на холод и голод, что мальчики в колонии стали безбожники и что от голой картошки у них животы, как барабаны, и вот не сегодня-завтра ляжет зима, а у них нет ничего, ни хлеба, ни картошки, ни бураков, ни молока. И соль даже вышла, нет ни синь-росинки.

– Живут же люди!

– А ты посмотри на людей, как Василий Семеныч живет, как Архип Василич, посмотри получше, а потом говори.

Смотрел Алпатов на товарищей школьных работников и не завидовал, как будто им, тоже распятым, представился случай удрать с креста, они поколебались немного и, не говоря худого слова, втихомолку бежали, другой так-то улепетывает босиком по осенней дороге.

– Куда это вы так спешите, Василий Семеныч?

Некогда, батюшка, позанимайтесь, ради Бога, мой час, белые мухи летят, а у меня картошка в поле застряла.

Вот еще один на ходу.

– Вы куда?

– Капусту солить.

– А вы?

– Лен трепать.

И сам Опенков Михаил Алексеевич, такой почтенный человек, бывший когда-то инспектором народных училищ, тоже куда-то бежит.

– Куда вы, Михаил Алексеич?

– Корову искать, вы по лесам ходите, не встречали мою корову?

– Придет корова.

– Придет, я сам думаю, да боюсь опоздать к поезду, еду на юг, жена больна.

– Так неужели вы на юг и корову берете?

– Корова же и едет на юг, я достал вагон и мандат на корову, а мы с женой едем проводниками, иначе не дают: шкрабы все мобилизованы по ликвидации безграмотности.

И убегает в лес корову искать. Едет при корове, – как в крестьянском хозяйстве, животные прежде всего и люди как бы вечные проводники при животных.

Так и нужно все понимать, нас всех проглатывает стомиллионный чан крестьянского чересполосья, мы все летим в этот чан, фабрики, равенство, наука, социализм; деревня – вулкан, заливающий лавой все виноградники, после чего стройтесь по линии все голые и вновь начинайте свой бег!

Старый бородатый бурсак Архип Василич на четырех ногах и с конским хвостом, как жеребец, летит.

– Куда, куда?

– Волну чесать, позанимайтесь мой час, у вас нет хозяйства, а я спешу: лен трепать, волну чесать. Вот и еще кричит:

– Как куда? осень: цыплят считать!

И все до одного просят позаниматься за них, без всякого даже раздумья и смущенья

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
заявляя, что чечевичная похлебка им выше первенства.

Бесхозяйственный Алпатов идет на урок и раздумывает: "Ох, если бы не это первенство, стал бы я хлебать чечевичную похлебку, я бы в комиссары заделался, а лучше бы всего к барону Кыш, чтобы нет никого и никаких. Хорошо это сказать «волну чесать», а у самого одна овечка и только ему одному едва хватит на валенки, и он думает только о собственных валенках.

Отчего это (...) все стали такими самоедами, что и шерстинки не останется у Архипа Василича от собственных валенок, как будто у Бога и людей работа раньше была по очереди: Бог спит, все молча работают для себя и, наработавшись, засыпают, тогда Бог просыпается и забытое на полях для всех собирает. Теперь Бог и человек вместе сошлись на работе, и где ему, старому, со всей оравой управиться, он растерялся и только трубит, а люди все тащат, ломают, дергают, мнут и, напротив другим, еле-еле только себе заготовят".

И еще думал Алпатов, глядя на шкрабов:

«Почему-то раньше любили все есть вместе, какое это удовольствие было собраться вместе за едой лицом к лицу за столом, покрытым непременно белой скатертью, поесть вместе, поблагодарить хозяина и потом очень осторожно, – Боже сохрани, чтобы кто не заметил незастегнутую пуговицу, – в одиночку освободиться от переваренной пищи. Теперь, напротив, освобождаются от пищи во вместе, а едят тайно, в одиночку, стыдно в дом войти, где обедают, пореконфузятся и гости, и хозяйева, будто в отхожем месте встретились».

Как завидовать такому хозяйству, как подчиниться такому небывалому даже в природе закону самосохранения: и там, в природе, подбор идет не на расширение тела, звери и птицы мельчают, но умнеют, и не тем драчунам на току достается тетерка, ожидающая хоть кого-нибудь а тому, кто догадался об этом и под шумок нырнул к ней в кусты; так и он, казалось Алпатову, не для кого-нибудь а просто для самосохранения, сидит по три, по четыре часа, над книгами для одного часового урока и хочет переработать навязанное и чуждое ему учительство в интересное и свое собственное дело. Но если за счет этого своего первенства отдаться хозяйству, то лучше просто погибнуть, как многие погибли уже на своем посту, подавая тонущим сигналы спасения.

«Прикосновенность к свободе есть и прикосновенность к страданию, но только душу свободную очищает страдание, и нельзя сказать, как говорят, что страдание очищает душу, скорее обыкновенную душу оно убивает, да, их убивает страдание, оттого что они рабы прирожденные обезьяньего мира».

Напрасно Алпатов пробовал на собраниях заводить речь о предметах, далеких от «жизни» и близких к учению, – стеклянными глазами его слушали подавленные люди и думали: «Лучше бы ты, брат, занялся картошкой».

Но как же и без картошки зиму прожить? Жалуют отдельные родители, приносят кое-что, но вся-то стихия народно-мужицкая выблюнула шкраба из себя, как постороннее тело, пока-то поймут, что это не прежнее враждебное народному творчеству дело, а согласное и очистительное, как святая вода. И разве это скоро докажешь, питаюсь ежедневно случайной подачкой?

– Что же вы дремлете, – сказали Алпатову, – у кого нет своего огорода в деревне, в городе кислую капусту выдают.

– Едва ли, – ответил Алпатов, – только резинку протрешь и классы пропустишь.

– Классы, классы, тут надо жизнь спасать, спешите скорей, Понтюшкнн уже получил.

Понтюшкин тоже бесхозяйственный шкраб, и если он получил, надо спешить.

За двадцать верст сокращенными лесными тропинками шагает учитель в город за кислой капустой, и довольно-таки бодро идет, оттого что при последней нужде мысль о кислой капусте, – в особенности, если на случай рассчитывать, как это бывает, фунт керосина дадут, или стакан сахара, или фунтов десять овса, – приятная мысль.

«В этом есть что-то живительное: верно, если этим заняться вплотную, то даже

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru интересно будет, а уж со стороны только увидят, что понизился, на этом, верно, все шкрабы и попадаются».

Странный пейзаж в лесу на время перебил ход его мыслей: среди леса открылась ляда с удивительно густыми свежими всходами озими, и было тут же на зелени много черных гниющих пней и, как это зачем-то почти всегда бывает на лядах, отдельные деревья, искривленные от прежнего тесного лесного соседства, погнутые ветром, одинокие, с облетевшей листвой, и такие ненужные, казалось, и лесу, и озими.

Что-то близкое себе в этих деревьях узнал Алпатов, и ему захотелось непременно узнать, для чего всегда оставляются на лядах высокие деревья.

Неподалеку от ляды в лесу возился с дровами, видимо, очень больной старик с повязанной головой, весь похожий на Лазаря, только что выходящего на свет из могилы, возле него была буланая лошадь и тоже больная, с большими черными пятнами вокруг глаз, все больное и все болит, куда ни взглянет воскресший Лазарь: и лошадь его, и дрова, и топоришко, и тележонка, и небо, и земля – все болит, и умирающий Пан закрывает навеки свои голубые глаза.

Могильным голосом ответил старик:

– Деревья оставляются на случай, вокруг леса вырубает, земля наша худая, ляду, может быть, придется бросить и опять оставить под лес, так вот для обсеменения земли оставляют на ляде деревья. А вы сколь далече идете?

– В город за кислой капустой.

– Повезли, повезли, много наемни капусты везли. Хорошее дело, запасайтесь. Путь вам счастливый, а деревья оставляются для обсеменения, и больше ничего.

Мысли о высоких деревьях на случай при озими для обсеменения запущенной земли хватило Алпатову до самого города, до открытых дверей ПРОДКОМА, куда всегда валом валит народ, не обтирая ног, и оттого с улицы сюда переход незаметный, из грязи в грязь, прямо в хвост.

– Тут выдают кислую капусту?

– Кому как, вы кто будете?

– Школьный работник.

– Шкрабам, кажется, не выдают.

– Будет врать, наемни Понтюшкин получил.

– Ну, так получите.

– Не зевай, не зевай, подходи! – толкают Алпатова. А подходить-то и страшно: заведующий отделом кислой капусты раньше был дьяконом, вдруг в пьяном виде разодрал на себе рясу, про это в газете написали, прославили, дьякон стал революционером, обрился лет под сорок, напялил на себя френч, штаны галифе – страшно смотреть стало на прежнего дьякона.

– Шкраб? – спросил дьякон.

– Школьный работник.

– Городской?

– Сельский.

– Сельским шкрабам капуста не выдается.

– Вот удостоверение: у меня нет огорода.

– Сельским шкрабам капуста не выдается.

– А как же Понтюшкин получил?

– Сельским шкрабам капуста не выдается.

И потом в хвосте разговор сочувственный:

– Ну вот, я же вам говорил, что шкрабам капуста не выдается.

– А как же Понтюшкин?

– Мало ли что, Понтюшкин, может, бутылку самогонки принес.

– Какая у того самогонка!

– Да вы не жалеете, скверная капуста, с водой и вонючая, попробуйте, может, овса дадут.

«Врут все, – подумал Алпатов, – зачем-то утешают», – но ему нравилась эта черта в народе, когда почему-то иногда возникает сочувствие и всем миром, кто как может, начинают ободрять и поднимать, – нужно попробовать достать бумагу на кислую капусту в отделе народного образования. И пошел туда, сокращая путь, в калитку одного полуразрушенного постоем войск дома через пустырь.

– Мусье! Пожалуйста, затворите калитку, – крикнула ему с другого конца пустыря от выходной калитки известная всем тут бывшая помещица, пасущая теперь тут двух своих коз.

– Мадам! – просила она, когда Алпатов был на середине пустыря.

– Мусье! – когда он был у выходной калитки.

И потом каждому, кто затворял калитку и достигал ее:

– Мерси!

И так весь день без всякого раздражения просит, смотрит за козами и притом еще вяжет чулки для кого-то.

«Наверно, своим маленьким внукам», – подумал Алпатов и заглянул в лицо старой женщины: лицо было бодрое, человека, вполне занятого и в чем-то уверенного.

– Богатая была? – спросил Алпатов какого-то мусье с перевязанной окровавленной тряпкой ладонью.

– И какая еще! – ответил мусье. – А вот, смотрите, со всеми ласково, вежливо обходится.

– Что же это у вас такое? – спросил Алпатов, указывая на руку.

– Дверью палец раздавили: был на железной дороге, весь день не ел, постучался к будочнику, не поставит ли, как раньше бывало, самовар. А он дверь отворил, раз! – меня в грудь кулаком и хлоп дверью: палец и раздавил. И откуда это злость такая?

– Ну, не все же злы, вот видите: не зла же эта старая женщина.

– Это редкость, а так все злы.

– На кого же?

– Да, на кого же? Где тут причина? – с большим интересом, просясь на долгий душевный разговор, спросил раненый.

Но Алпатов уже был у дверей своего отдела и, простившись, пошел туда. Заведующий Семен Демьяныч, рабочий московской фабрики, старейший коммунист, любил с Алпатовым поговорить и пожаловаться на воров, на саботажников и особенно на примазавшихся интеллигентов, ненавистных и Алпатову (...). Узнав про кислую капусту, Семен Демьяныч выругал дьякона, дал бумагу в продком на полпуда

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
капусты, а печать за разговорами поставить забыл.

– Без печати выдать никак невозможно! – сказали в продкоме.

Опять, усталому и голодному, пришлось возвращаться назад, а когда пришел в НАРОБРАЗ, Семен Демьяныч ушел в УКОМПАРТ.

«Разве жалование получить, все-таки хватит на две восьмушки махорки».

В очереди стояли оборванные шкрабы, городские и сельские, некоторые в лаптях, один даже на босу ногу, все с любопытством разглядывали афишу о публичном диспуте в городском саду на тему необыкновенную: о бессмертии души. Один застрявший в глуши богоискатель выдумал это сделать по примеру Англии, как у Джемса, в пику официальному материализму, с голосованием.

В очереди говорили:

– Чудак, он думает таким способом что-то сделать.

– Забьют.

– Ну еще бы, и пикнуть не дадут.

– Неужели не постоят за бессмертие души? – спросил Алпатов.

– А кому какое дело теперь до души, – сказал босой шкраб, – я сам сознательно руку за душу не подыму.

– За идеи Платона и Христа?

– Голодные не могут быть христианами.

– Но христиане же часто были голодными.

– А это надо вперед себе в голову забрать, и тогда даже будет приятно за что-то свое голодать, а просто голодные не могут быть христианами, вы сами должны это понимать.

– Может быть, я и понимаю, но как же этот философ не понимает?

– У него жена доктором хорошо зарабатывает, вот он и выдумывает, у него есть время, но вы сами шкраб и понимать должны, что голодные не могут быть христианами, из голода ничего не выходит (...)

Не мысль, что голодные не могут быть христианами, а злость этого босого учителя, одетая такими словами, поразила Алпатову и напомнила ему точно такую же злость, но в других словах, и какие это слова, он хотел и не мог вспомнить.

– Погодите, товарищ, получать деньги, пойдемте за мной, – сказал ему мальчик со взъерошенными волосами, заведующий школьным подотделом.

– Да, погодите-ка, – сказал другой такой же мальчик, заведующий внешкольным подотделом.

– Сюда, сюда! – шла впереди их горбатая девица, заведующая секцией социального воспитания.

Пришли в почти пустую комнату, и трое сели за стол, поделились подсолнухами, больше стульев не было:

Алпатов стоял.

– Ну, товарищ, – сказал первый мальчик, – что вы теперь делаете?

– Разбираю архивы.

– Разве есть это?

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

- А как же.
- И порядочно?
- Очень даже много.
- Много? – сплунув подсолнух, спросил другой.
- Порядочно.
- Мы решили вас использовать иначе, по ликвидации безграмотности.
- Прежде надо ясли для детей завести, – ответил Алпатов, – а то ко мне бабы ходят с грудными ребятами: пищат ребята, бабы унимают, не слушают.
- Вот вы и займитесь организацией.
- Нет, я не занимаюсь никакими организациями.
- Почему?
- Не интересуюсь, я другой природы.
- Мы все одной природы.
- Нет, разной.
- Мы вас мобилизуем.
- Не пойду.
- Пришлем милиционера: вас нужно выжать, как лимон.
- Не выжмете: я сухой лимон.

Тогда третий мальчик показался на пороге, сделал какой-то знак, и все побежали со свистом по коридору.

Алпатов вынул скорей свою бумагу на кислую капусту, взял со стола печать, приложил и пошел опять в продком получать.

Помещица с козами во время этой беготни уже заметила Алпатова – и как он аккуратно затворяет калитку, и поглядывает на нее. Теперь она его остановила и пожаловалась на коз, мало дают молока, не хватает травы.

- Нужно как-нибудь из своего имения выхлопотать корову, – сказал Алпатов ей в утешение.
- Корову? – изменилась в лице помещица. – Что вы сказали, повторите.
- Корову.
- Господи, – перекрестилась она, – неужели это сбудется: я сегодня во сне видела корову.
- Черную в очках и белых чулочках.
- Черную в очках. Но как же это вы знаете?
- Так знаю: получите корову, хлопчите скорей, – сказал Алпатов и поспешил в продком.

Там, однако, занятия кончились, все было пусто, и где выдают кислую капусту, рычала большая рыжая собака.

Посмотрев на злую рыжую собаку. Алпатов вдруг вспомнил, кто это и какими другими словами сказал, что голодные не могут быть христианами; это разбойник, издеваясь, сказал Христу: «Если ты сын Божий, спаси себя и нас».

VIII ЛУКОВИЦА

Голодная волчья заря узким медным перстнем полукружила небо. Учитель выходил обратно из города в надежде перемочь усталость и голод до дому. Навстречу ему гнали коров и шел оборванец с длинной палкой с холщовой сумкой. Он остановил спешно идущего Алпатова и попросил у него огня раскурить трубку. Недовольный остановкой, вырубая огонь, Алпатов сказал:

- Пастуху нужно иметь кремень и огниво.
- Ты что, слепой! – крикнул оборванец. – Вон пастух!
- Что же тебе стало обидного от пастуха?
- Я солдат.
- Пастух, по-моему, не хуже солдата.
- Пастух? Ах ты...
- Ругаться? Ну так нет же тебе огня, убирайся! – крикнул Алпатов и быстро пошел дальше.

Но солдат тут только и принялся ругаться как следует и на фоне полукружия волчьей зари трехматерной картечью палил вслед Алпатову, может быть, представляя себе, что он из шестипушечной батареи по немцу палит.

- Я солдат, я солдат, я на фронте страдал.

Больно отзывалась эта ругань на сердце у Алпатова, ему было досадно, что не угадал душу поврежденного солдата и так расстроил его, но, главное, смущала его догадка уже по прежнему верному опыту, – если станет так на каждом шагу цепляться с болью за людей, значит, сам вконец поврежден и едва ли дойдет он до дому при усталости и лихорадке. На лесной тропинке его сапоги сами цеплялись за пни и колени подгибались от слабости. Набил трубку, затянулся, стало от этого лучше, но неудержимая злоба охватила его на оледенелое достоинство сумасшедшего солдата, и на застывшее величие дьякона с кислой капустой, и на мальчишек с подсолнухами, заведующих десятками школ, библиотек, и – сколько их всех! – будто дождь идет и каждая капля его от стужи замерзает и падает на землю снегом и льдом.

Милостью солнца росинка воды получает отпуск на небо, милостью солнца земля радуется, получая тепло, а сама земля, вернее, не земля, а суша, ее каждая частица давит другую, и если бы дать им волю, они взорвали бы весь земной шар. А связь воды совершенно иная, каждая капля не лежит, а движется и не мешает другой. Сила земная вяжет насилем, а сила солнечно-океанская освобождает, и сила эта в душе человека остается, как любовь различающая.

Учитель остановился и на большом пне в сумерках, едва различая буквы, пытается записать план урока на завтра о суше и воде, ее омывающей, но в голове у него стало темней, чем в лесу, и звенели тысячи огненных колокольчиков на зелено-желтых полосах. «Перемогу, перемогу!» – заговаривал он наступление какой-то враждебной силы, очнулся, еще покурил, записал и продолжал свой путь, прибавляя пример за примером к связи частиц воды из человеческой жизни: особенно ярко припомнилось ему, как в океане на гибнущем судне, когда все высадились на лодки, остался один телеграфист и по колена в воде подавал сигналы о спасении людей по беспроволочному телеграфу, пока волна не смыла его с корабля, – се человек!

С какой бы радостью он и сам сию же минуту отдал свою жизнь в схватке с врагом, но враг был везде, а лица не показывал. Нельзя же дьякона считать врагом, – если бы с ним встретиться в бане, попариться вместе, то он оказался бы добрейшим человеком; ругательному солдату сказать «ваше благородие» и дать восьмушку табаку – побежит вслед, как собака; дерзким мальчишкам дать парочку идей для грандиозного плана ликвидации мужицкой России, чтобы они увидели в этом ключ к царству небесному на земле, и мальчишки будут на побегушках. Все они не знают, что творят, и сам комиссар земледелия в пьяном виде открыл свою душу: «Все мое, – сказал он, – и земля, в лес, и вода!»

Кто же враг?

«Большевики», – говорят все кругом, но никто не потрудится при этом подумать, что суд его прямо соприкасается с личным раздражением и всякий укол приводит к одной неподвижной идее, большевики, в этом почти все одинаковы, все манаки, как поврежденный солдат.

– Кто же мой враг, покажись!

Открылась просека, и по ней с возом дров ехал старик с обвязанной головой на больной буланой лошади с большими темными пятнами вокруг глаз. И бывает же так, этот Лазарь остановил возле Алпатова лошадь, крепко выругался матерным словом и едет дальше как ни в чем не бывало.

– Стой! – остановил его Алпатов. – Ты за что меня ругаешь?

– Я тебя не ругаю.

– Зачем же ты возле меня остановился?

– А кому же мне Его выругать?

– Кого?

– Кто выгнал меня, больного старика, в лес за дровами.

– Председателя?

– Я сам председатель.

– Кого же ты ругаешь?

– Его же, батюшка, Его: за что ни возьмешься, все Он мешает и все рассыпает. Он против нас хозяйствует, а тебя за что мне ругать?

И правда: Лазарь улыбался ему такой улыбкой, как при похоронах улыбался хороший священник его родной деревни, отец Афанасий: он так улыбается, а все кругом плачут.

Старик, сам больной, и на больной лошади, и с возом дров, даже просил Алпатова подсесть к нему, но просека – далекий путь, тропинкой к большаку он пошел скорее, неотступно размышляя о Нем.

«Надо быть, как этот старик, видеть врага в образе черта с рогами, или сектантом и партийным человеком, каким-нибудь большевиком, меньшевиком, эсером, но все это психология первобытная».

Лихорадка затрясла его.

"Их было два брата, один был домогатель и ушел из дому, у него ноги свинцовые, живот деревянный – дети не рождаются, сердце не чувствует красоту, плечи сильные, голова математическая, в очках и плешивая, это человек механизации мира, окончательный интеллигент: homo faber.

Другой брат остался при доме, у него ноги резвые, в шерсти, и баба его постоянно рождает детей, а лицо его – как восходящее тесто в деже: вот выскочили два живые глаза, только собрался им ответить своими, а тут, где были глаза, рот выскочил, хочешь в рот сказать, это не рот, а дырка, и это вовсе не лицо, это зад обернулся в лицо – окончательный мужик.

И оба эти брата, как два вагона, идут на меня, и я между ними, как сцепщик, растерялся, еще момент, и они раздавят меня буферами, и поезд пойдет без меня, но этого быть не может, без меня на земле останется одна математика и тесто в деже, все вычисленное и равномерно распределенное на пайки.

Выходит, мой враг – homo faber и его математика. Борьба с математикой? А вот как боролась собака с паровозом: положила хвост на рельсы и лаяла в кусты на корову,

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
паровоз отрезал ей хвост, она кинулась на паровоз, и тот отхватил ей голову.

С этим нельзя по-собачьи бороться, паровоз вещь полезная, и математика необходима, и сам homo faber, начертающий план государства-фабрики (наше время ведь только план), вероятно, тоже необходим: и как же иначе освободиться от чудища, как, не доведя его до абсурда, до счета, до учета научного?

Не про это ли сказано: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя: ибо число это человеческое».

Никакой раскольник со всей своей магией и никакой анархист пироксилиновый не сделает со зверем того, что делает с ним homo faber, превращая фетиш в механизм. Теперь homo faber только ошибся и сдвинул какой-то утес на исток живой воды, и то, что раньше было святое слово ЗЕМЛЯ, теперь стала СУША, и сушу эту надо постоянно размывать, как размывает ее вода океанская. А Я – частица воды океанской, Я – капельно мал, и Я – океански велик, и друг мой лучезарный бог Солнце постоянно творит, и homo faber мой верный слуга".

Но не тут, в этих рассуждениях, а в душе была, несмотря ни на голод, ни на усталость и лихорадку, светлая точка: вот бы теперь идти в класс и рассказывать детям о суше и воде, ее омывающей, упомянуть, что крестят не пылью придорожной, а водою, и знахари говорят: «Вода, матушка, ведь она живая, святая». И хотя бы не класс, а лист бумаги и свет какой-нибудь – записать свои мысли.

Между быстро бегущими облаками показался месяц, осветил сворот на большак, и тут в блестяще накатанной осенней колее учитель заметил очень симпатичный круглый и драгоценный теперь предмет, знал хорошо, как он шелушится, как пахнет, какой у него вкус, но слова в голове его еще не было, и только уж когда он поднял его, слово родилось: луковица. Другая тускло блестела подальше, в двух шагах, там третья, четвертая, пятая, – видно, кто-то ехал и терял лук из худого мешка. Алпатов громко крикнул подождать и, набив луком карманы, стал подходить на скрип телеги вдаль. Скоро показалась телега, луковый человек его дожидался, это был Иван Афанасьевич Крыскин, зажиточный огородник из городских мещан, перебравшийся в деревню. Не за услугу, конечно, какая в этом услуга, а просто из жалости к человеку, – и еще учитель, ест без соли, без хлеба поднятый с дороги даже не чищенный лук, – Иван Афанасьевич дал ему довольно большую, – фунта четыре, сообразил Алпатов, – краюшку хлеба и посадил к себе на телегу.

IX О ХЛЕБЕ ЕДИНОМ

– Дуравей России есть ли страна? – спросил Крыскин.

– Едва ли! – ответил Алпатов.

– И что есть Россия? На одном конце солнце всходит, на другом заходит, и на таком большом пространстве все говорят, что мало земли и люди разуты-раздеты; есть ли на свете страна дуравей России?

– Едва ли! – повторил Алпатов.

– И что есть родина? Вот теперь мне стало ясно, что солдат существует, чтобы его убили или чтобы он убил, и больше в солдате нет ничего: раньше я служил солдатом и был ефрейтором и фельдфебелем, ничего такого не думал, служил и служил для родины и отечества, и вот, оказывается, родины нет и отечества нет.

– Как же это так? – удивился Алпатов.

– А очень просто, у меня есть дочка, тоже учительница и курсистка, Крыскина, слышали?

– Слышал, есть такая учительница.

– Ну, вот, она мне читала, что, где теперь станция Тальцы, раньше был город Талим, в этом городе были стены и башни, через эту местность проходило много всяких народов, захватывали город попеременно и под стенами кости скоплялись разных народов – вот это называется родина, и что в Тальцах живет теперь человек, это называется русский и все вместе русский народ. Ну, как вы думаете, все это есть ценность?

– Это наше прошлое.

– То есть переходящие народы, и русского человека нету, и родины тоже нету, а между прочим, я жалею русского человека и родину и понять не могу, откуда у меня эта жалость берется.

– Любят всегда неизвестно за что.

– Да что же тут можно любить? У нас теперь нету фабрик, ситцу, калош, сапогов и продуктов земли, даже хлеба, соли, – у нас одна земля. И то же самое про человека, что нет у нас закона, религии, семейности, нет человека и один только Фомкин брат всем командует. Национальность погибла, и говорят, по всему земному шару все национальности погибнут, и у немцев, как у нас, будет Фомкин брат, и у французов, у англичан, у японцев, везде голая земля, и тогда все под одного Бога. Ну, один Бог для всех народов, это я считаю правильно, это совершенство, как плуг паровой и подобное, как наша соха. И позвольте вам только сказать и спросить вас: ежели говорят брось соху и мы тебе дадим паровой плуг, то как я поверю в высшее без видимости плуга. То же самое и про старого нашего Бога, я оставлю его, а общего не окажется. Слов нет, коммуна – это очень хорошо, а перешагни через эту цель!

Вы посмотрите, какая у нас жизнь: был у нас тряпичник, ездит такой человек по деревням, собирает где тряпку, где кость, где жестянку, и так год, и два, и три, десять. Через двадцать до того прилачился к делу, что в городе склад открыл, а сотня, другая для его дела ездит, и в конце концов из тряпки этой выходит бумага. Теперь человек этот, буржуй, разорен, тряпок никто не собирает, и бумаги нет. Бывало, человек нужник чистит, смотришь на него, мнет ситник, сыт, весел; смотришь теперь, этот же самый человек, ведь они теперь те же самые прежние люди, стоит, чистит нужник, ситника у него нет, а нужник остался, ну, скажите ему, что скоро будет коммуна и все люди пойдут под общего Бога. У меня вот дочка учительница теперь сидит и все книжки читает, начну я ей это свое говорить, а она мне: «Это, папаша, в будущем». Вот почитает, почитает и: «Есть хочу», – а я книжку ей на стол: «На, ешь, а хлеб в будущем».

Все время, как говорил Крыскин, не мог Алпатов разобраться, друг ему этот человек или враг, но когда он до книжки дошел, то понял, что, наверно, враг и просто так хлеб от него взять нельзя: бояся поповской просвиры и мужицкой ветчины.

– Вот вы мне хлеб дали, – сказал он, – а что же мне бы дать вам за хлеб?

– Бог с вами, но ежели бы у вас один предмет нашелся, я не откажусь.

«Уж не опять ли всплывает этот разбитый казенный сундук?» – испугался Алпатов и спросил со страхом:

– Какой предмет?

– Маленькая вещь: квинта.

– Струна квинта?

– Струна оборвалась, вечерами скучаю, но ежели нет у вас квинты, дайте рассказ.

– Рассказ?

– Какой-нибудь, все равно, только бы весело; у меня был очень хороший рассказ, все читал его, да вот по нынешним временам украли и выкурили, теперь опять так сию, ни поиграть на скрипке, ни почитать, какой-нибудь дайте завалиющийся.

– Рассказ я вам дам «Преступление и наказание» Достоевского.

– Того Достоевского, что на каторге был, и это, кажется, о Раскольникове, как он двух старух убил. Боже сохрани, не давайте.

– Вы не дочитали повести: Раскольников убил, а Достоевский это убийство осудил и учит нас вовсе не убивать.

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– А это еще хуже, чтобы вовсе не убивать.

– Христов завет.

– Бог с вами: такого завета у Христа не было.

– Как не было, вы не читали Евангелия.

– Я не читал? Ну нет, ошибаетесь. Правда, у нас читают редко Евангелие, к тому же народ наш темный, неграмотный, зато ежели кто взялся раз, тот уж доходит до всякой буквы. Так и я дошел и оставил эту книгу: больше не читаю. Понимаю, что очень хорошее Христово учение; как жизнь наша здесь, на земле, тяжкая, то Господь нам дает утешение в жизни загробной: здесь потерпите, а там будет хорошо, вот и все Христово учение. Правда, Христос учил людей не убивать, но вы эту заповедь обернули по-своему и сделали из нее самое вредное дело.

– Мы?

– Вы! Во всех смутах и во все времена была виновата антиллитенция, но самая ее вредная мысль, что людьми можно управлять без насилия и казни. Да, Христос людей учил не убивать, но казнить разбойников он нигде не запрещал. Нет, вы мне такого, Боже сохрани, не давайте читать, мне нужен просто рассказ.

– Толстого?

– Толстой больше всех виноват: он эту вредную мысль и выдумал, вот бы ему теперь хоть бы одним глазком посмотреть, что из его семян выросло. Не давайте мне Толстого, пожалуйста.

– Успенского дам я вам: крестьянский труд, это очень хорошая книга.

– Помню и эту, дочь мне давала читать, там очень хорошо описана жизнь мужика трудящегося, а вывод сделан неправильный: о поравнении, тоже вредная мысль. Я верю в дело только отдельного человека и в черту.

– В отдельного и его собственность?

– Да и в его собственность.

Алпатов рассказал, что будет, если за исходный пункт взять отдельного, и рад был, что злоба этого человека, как белая пена на черном вареве, остановилась, он притих и задумался.

– Нет, – сказал он наконец, – я признаю над собою черту.

– Какую черту?

– Не знаю, точно где-то я читал или мне снилось, мне снится разное чудное, недавно снилось, будто время (...) быстрое и произвольное, как хочешь стрелку поставь – чиновники по стрелке бегут в канцелярию, что это время соединилось с земледелием: посадил лук, смотрю, а он через час уже в стрелку пошел, через три часа теленок вырос в быка, и рожь поспевает, – удивительно, какие штуки во сне бывают. Так снилось мне или я где-то читал, мужик собрался резать теленка и нож для этого дела выточил, с вечера лег спать и слышит, теленок ребячьим голосом плачет; как вы думаете, понимает теленок?

– Ну, понимает.

– А мы этого не понимаем.

– Ну...

– Вот и все.

– Мы же с вами говорили про союз отдельных.

– И я к тому же веду, союз наш будет в понятном, а как же в непонятном? Нет, я признаю над собою черту. У антиллитенции же этого нет, одна партия вертит

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
воробьям головы, другая соединилась не убивать врагов человечества. У них черты нет и проверки.

– Черту вашу я понимаю, это страх Божий.

– Ну да, страх Божий.

– А что же такое проверка?

– Хлеб наша проверка. Знаете, я сам из мещан и мужиков не люблю: бык, черт и мужик одна партия, но понимаю теперь, почему вы голодаете, а Господь нам в черную годину этот кусочек послал: хлеб наша проверка.

– Ошибаетесь, хлеб тоже имеет проверку. Христос сказал: не единым хлебом жив человек.

– Не единым? Зачем же вы лук по дороге собираете? И жили бы книжкой. В Евангелии про камни сказано, что дьявол хотел их в хлеб без труда превратить, а господь ему запретил обращаться к хлебу без труда, вот этим, мол, и будет жив человек. Антиллигенцию же черт обманул, она хочет хлеб сделать из камня посредством трактора.

– Какая же это интеллигенция, про которую вы так говорите?

– Обыкновенная: кто не сеет, не веет и при том враг себе и простому народу, а хлеб един, и о нем все заветы.

– И жив человек одним только хлебом?

– На земле жив единственно этим, а все прочее притча. Вот если бы Евангелие, как Толстой, понимать, чтобы жить на земле по притчам, то хлеб не нужен, оттого что и продолжение рода человеческого не нужно: оставь и отца, и мать, и жену. А я понимаю Евангелие как притчу об утешении и обещании на том свете жизни легкой. Я против этого ничего не имею, а на земле жив человек единственно собственным хлебом.

У креста, где дороги расходятся на все четыре стороны, Алпатов хотел проститься с огородником и прыгнул с телеги, но тот задержал лошадь и на прощанье спросил Алпатова, и, видно, не просто, а с целью открыть что-то свое особенное и необыкновенное.

– Вы-то сами, – спросил он, – хорошо ли читали Евангелие?

– Нет, – ответил Алпатов, – по-моему, усердно читают Евангелие у нас сектанты, а я их не люблю, я просто понимаю, чему меня с детства учили: вот сейчас вижу крест и вспоминаю чудо насыщения пятью хлебами.

– И насытились? – Крыскин усмехнулся. – Неужели верите?

– Верю.

– Едва ли, вы это на гордость свою, на дух переводите, духовный, мол, хлеб, а какой уж там духовный, ежели прямо сказано, что осталось двенадцать коробов кусочков от пяти хлебов. Вы в это потому верите, что на себя переводите: я, мол, учитель и тоже, как Христос, могу ходить, учить и не работать.

– Как Христос не работал? Что вы кощунствуете, его работа в распятии.

– Распятие – это быстрое дело, помучался часами и помер. Все равно как в наше время стрелку переведут и думают, от этого вся жизнь струнулась. Так и распятие идет по скорому времени (...), а жизнь идет по солнечному, тихо, работа медленная и то отпустит немного, то опять скрутит, и все сиди и сиди в одной точке: вбит кол, и на колу я привязан, как бычок. Но он ходил, и учил, и был распят, а не работал. Вот то-то, вы не читаете Евангелие, надо читать. Нигде там не сказано, что он сидел и работал, а только ходил и учил.

– И не спас?

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Бездетный был и не работал, нам примера нет, наша жизнь больше в буднях проходит, а у него все праздники. Его путем нам спастись невозможно.

– И живут неспасенные?

– Великому множеству людей это вовсе не надобно: родится хлеб – слава тебе господи! не родится – надо потерпеть. А вы терпеть не можете, и чуть вас коснулась беда – сейчас подавай Христа: слабость это и обман гордости, чтобы самому не работать, а ходить, учить, сочинять.

– Ну хорошо, я ошибаюсь, интеллигенция заблудилась, а есть же настоящий Христов путь спасения мира от проклятия.

– От проклятия, наверно, есть, только это всех нас мало касается, не все мы прокляты.

– Сказано...

– Понимаю, сказано еще: в муках родить, но не каждая же баба в муках рождает, другая ребят, как яйца, несет. Это про часть сказано, а вы и на всех и здоровых переводите неправильно. Конечно, певчие нужны и праздники, попы, дьякона, учителя, сочинители, все это хорошо, но нельзя же всем жить без работы. Вот господь в эти тяжкие дни нам кусочек и послал, а вы голодаете. Христос – это гордость в вас, смиритесь до конца, и останется хлеб собственный, трудовой. Единственно этим жив на земле человек, а все прочее по мере надобности.

«Тоже искушение на гордость, – думал Алпатов, глядя на забытую в телеге краюшку хлеба. После такого разговора ему стыдно было взять этот хлеб, а Крыскин не замечал, – смириться и напомнить? Нет».

– Хлеб забыли, хлеб забыли! – кричал вслед ему Крыскин.

Он слышал и не хотел возвращаться за хлебом. «Куда же это я зашел?» – спросил себя Алпатов в лесу на незнакомой тропинке, сходящей постепенно на нет, – вокруг среди безлиственных рогатых деревьев неотступно шел за ним черный крест с распятым разбойником и голос Крыскина неустанно спрашивал:

– Если ты Христос, спаси себя и нас.

– Я не Христос, я сам был разбойником, принимаю достойное по делам своим, но что же он сделал нам худого?

Тогда расступились деревья и пропустили его на просеку, в конце этой бесконечной хвойной аллеи луна стояла чисто, порхали снежинки, и старик, похожий на Лазаря, обвязанный платком, тихо ехал, то показывался, то исчезал в тени бора. Хотел идти навстречу старику, но сил идти не было, он упал на мерзлую землю, и, после жара, холод ужасный затряс его, но открытыми глазами он все смотрит туда, на месяц; где идет снег и все близится больной старик. Вот он уже ясно виден, и сладчайшая улыбка у него на лице, как у старого отца Афанасия бывает всегда во время похорон: улыбка не от мира сего, все плачут, когда отец Афанасий так улыбается.

«Так этот старик и есть отец Афанасий!» – открылось Алпатову.

Но что самое главное открылось в эту минуту, что отец Афанасий и есть Иисус Христос, сам.

И надо бы теперь ему сказать: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое», – тогда все бы стало хорошо, но сказать почему-то стыдно, почему так?

«Верно, это оттого, что я не окончательно еще умер и оледенел». – подумал Алпатов и попробовал двинуть какой-нибудь живой косточкой в своем теле, похожем на ледяной мешок костей.

Мизинец и шевельнулся.

«Ну так и есть: это мой живой член бунтует».

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

А отец Афанасий оттянул из него самое главное, имя его святое, и поет ему вечную память и жизнь бесконечную.

«Сказать бы надо про мизинец: покаяться в живом члене, а то выходит обман. Но разве можно за живое каяться, разве оно виновато, что живо?»

И так означилось поле при небе мутном и безразличном, без горизонта и всякой черты, отделяющей небо и землю, только рыжая, занавоженная дорога поднимается в мути все выше и выше. Неверным тенором поет отец Афанасий «Со святыми упокой», и буланая лошадка с темными кругами под глазами, телеграфными столбами, усердно нажимаясь, тащит все выше и выше на небо.

X МИСТЕРИЯ

Как убитые птицы, из мути небесной падают с деревьев невидимых на дорогу сухие, скорченные листья, чуть очертался хуторок: люди живут.

«Тоже, – думает Алпатов, – может быть, нечаянно, недоглядев, везли кого-нибудь с живым членом на небо и бросили на полпути, и он тут размножился».

Вот показалась целая деревня, из нее выходят голодные, просят хлеба ради Христа, есть хотят и размножаться.

«Тоже не кончились: голодные не могут быть христианами, надеются насытиться и продолжаться, а живой мир во Христе кончается».

И знает Алпатов теперь уже наверно, что так ему обман не пройдет и он опять вернется в гущу людскую оттого, что мизинец его жив. Солнце чуть-чуть означилось желтое, смущенно глянуло на леденеющую землю. И земля, его обиженная жена, вихрем ответила, она высылает детей своих заступиться за мать. Не знают бедные дети, что солнце вернется и опять помирится с землей. Они свои огни зажигают, и с красными факелами мчатся, и крутятся в вихрях столбами, поднимая сухие листья деревьев, дорожную пыль и песок.

Темный вихрь явился навстречу отцу Афанасию, вышел из вихря Персюк с конным отрядом и реквизирует тело Алпатова.

– Сын мой, еще потерпи! – сказал священник с улыбкой, от которой все плачут.

«И все это из-за мизинца, – знает Алпатов, – живой мизинец и есть весь мой грех».

Музыканты играют «Мы жертвою пали», и четыре красноармейца несут Алпатова в красном гробу обратно в город на площадь Революции, где стоит Карл Маркс возле почетных могил убитых на своем посту комиссаров. Алпатова тоже хоронят, как комиссара.

В Ямщине услышали музыку.

– Что это красное?

– Гроб несут, кого это?

– Видишь, без попов: комиссар грохнулся.

– Подсолнух!

В толпе фомка, брат Персюка, показался:

– В реку бы его, – говорит, – а они музыку разводят.

– Товарищ, так нельзя, – отвечает ему человек мастеровой и при фартуке.

– В реку нельзя, отчего? Река покойников любит, раки съедят, и никаких.

– Так, выходит, он был не человек, а статуя и нет ничего.

– И я тоже говорю, что нет ничего, а то говорят: «Мы управляющие», – и тоже бьют, не бьют разве новые управляющие?

- Так это всегда было: и раньше, и теперь, всегда били нашего брата, потому что без этого нельзя.
 - Ну так на что же тут музыка, к стенке поставил и в реку: я – Фомка, он – комиссар, и никаких, какого же черта!
 - Комиссар Фомку, Фомка комиссара, ты меня, я тебя, нет, так не выходит.
 - Чего же тебе еще надо? Ты на меня, я на тебя, всех сравить – и в партии, потом партия на партию.
 - Ну и что же будет: одна возьмет верх.
 - На время, а потом другая в скорый оборот, чтобы не было никакого статуя, чего же тебе еще надо?
 - По мне, чтобы жили без оружия, вот когда это будет, я поверю в новое, а то все одно: была полиция, стала милиция, одного комиссара убили, другого статуя поставят.
- Толпа нарастает, кого-кого нет, из разоренного монастыря даже монах явился и безумно кричит:
- Нечестивцы, что вы сделали, человека замучили!
 - Да это не мы, вот чудак, нам, первое, велели, а второе, мы есть хотим.
 - Проклятые, за кого же вы стоите?
- Фомка режет:
- А ты за кого?
 - Я за мощи святые.
- Фомка монаху язык показал:
- Не мощи, а мышь.
- И монах от мыши в толпу, как сквозь землю.
- Лови мышь, лови мышь! – подзуживает Фомка. Гроб приближается. Стекольщику при фартуке противно бесчиние и жалко убитого комиссара:
 - Кому он вредит, кому статуя мешает? Ну Каин, я понимаю, убивает, а то говорят «мы Авель» и тоже убивают.
 - Мы понимаем, – отвечают в толпе, – вреда от него не было никому, власть стоит и стоит, кому вред какой от статуя? Поставь каждого во власть, и каждый будет статуем.
 - Дураки, ничего-то вы не понимаете, это место очищается, был один статуя городской, другого статуя поставили, комиссара.
 - Так и пойдет, только снаружи меняется. Пока без оружия (не) будет, никому не поверю.
 - Затвердил «без оружия», тебя не задевало, а вот посмотри.
- Фомка поднимает рубашку и показывает против сердца рубец.
- Кто это тебя?
 - Родной брат мой Персюк. Неужли я это оставлю, как ты думаешь, оставлю я это или нет?
 - Задело-то задело.

- Меня задело, а ты где был?
- Я стекла вставлял.
- И я работал, нет, ты мне скажи, могу ли я это дело оставить?
- Да на кого же ты пойдешь?
- На брата и на его партию.
- На брата, это один разговор, а на какую же партию?
- Почему я знаю, задело, и я задену, а тебя не задевало?
- Как не задевало, думаешь, тогда этого не было, все то же было, задевало, да как! Ты мне грудь показал, а я сзади рубашку подыму, тоже увидишь рубцы.
- Чего же ты говоришь, без оружия?
- Без оружия, где тебе такое понять, хоть бы оружие, да надо знать к чему. Персюк, брат твой, хоть и зверь, да стоит за советскую власть, за государство.
- Начихать мне на советскую власть и на государство.
- Тебе только бы без командира, задело, и ты задел.
- И я задел!
- Если бы ты знал что, а ты ничего не знаешь.
- И знать не хочу.
- Ученый там выкопал на чердаке старую книгу, узнал про жизнь, и у него связалось, а у тебя что связывается: тебя чкнули, ты чкнул, вот и все.
- Ученый – это мышь, а решит все трехдюймовка.
- Нет, брат, пока оружие будет решать, ни за что не поверю, и в государство никакое не поверю с оружием.
- Подумайте, что вы говорите, – сказал какой-то сознательный, – какое государство может существовать без оружия, где есть на земле такое государство?
- Есть такое, – отвечает стекольщик, – там люди живут, работают, пахут, скот разводят, торгуют, а воевать – нет! – махонькая страна такая.
- Финляндия?
- Ну хоть бы Вихляндия.
- Воюет!
- Ну, стало быть, не Вихляндия, а есть.
- Швейцария?
- Я говорю, есть такая страна, где не воюют, хотя бы самая махонькая Вихляндия, а есть.
- Сам ты Вихляндия, отвечай просто: двое дерутся на улице, что ты сделаешь, как остановишь?
- Скажу: не деритесь.
- А не послушаются?
- Другой придет: тут постепенность, один уговаривает, другой уговаривает, третий

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
уговаривает.

- Был такой уговаривающий, ну что, уговорил?
- Так он уговаривал драться, а я чтобы не драться.
- После него тоже уговаривали, чтобы не драться, и чем кончилось?
- Это неправда, сами уговаривали, а сами оружие поднимали на капиталистов.
- Ну, ладно, пускай ты пришел и уговорил: ну, помирятся, один пойдет в подвал, другой во дворец?
- И хорошо.
- Капиталисты опять наживаться.
- Почему наживаться: ему, может быть, надо долги заплатить, разные бывают капиталисты.
- Расходитесь вы к черту! – кричит, надрываясь, милиционер. – Тут похороны, а не митинг, дорогу давайте, ну!

И замахнулся на женщину шашкой, только на одну, а их сто выскочило.

- Нонче и осьмушку не выдали. Свобода, свобода, а хлеба не дали, на черта нам ваша свобода!
- Иди на работу!
- Давай работу!
- Возьми, ты сама не идешь.
- Брешь!
- Нет, ты брешь, вы сидите, враг идет, а у вас дезертиры под юбкой.
- А у вас жида в штанах. Ха-ха-ха! – в сто голосов.
- Ловко баба отрезала: жида в штанах. Кто-то веселый вздумал искать дезертира у бабы, но вдруг Персюк на коне появился.
- Персюк, Персюк!

Все врассыпную, и сам Фомка впереди всех бежит.

Опять стало тихо на улице, два мещанина, один с завалинки, другой из калитки, переговариваются, и возле них Пелагея Фоминишна остановилась.

- Комиссар грохнулся!
- Подсолнух!
- Чего же народ шумит?
- Чего кричат, чего орут, – говорит Пелагея Фоминишна, – милые мои, сколько вы ни кричите, а служить кому-нибудь надо, я тридцать пять лет у господ жила, и никто меня не обидел, оттого что я себя знаю, я такая ведь: самовар согрела, чай засыпала, пока настоялся чай, я двадцать дел переделаю, кто с меня спросит, кто посмеет обидеть? Покойника несут, а они визжат, вот Егор Иваныч идет, спрошу-ка я его.

И того самого дьякона, что Алпатову капусту не выдал, спрашивает:

- За что же, батюшка, Егор Иваныч, убили?
- Да ни за что, так время переходит, и убивают.

– Как его имечко-то святое?

– Не знаю, матушка, сам, только пролетарий он оказался настоящий, и не думали, а как умер, вдруг и обнаружилось, вот ему теперь и почет.

– Все-таки имечко-то его святое надо узнать, что же это такое, хороните и не знаете, кто он такой.

– Какой-то не то Ламатов, не то Лапатов, загляните, может вспомните.

Пелагея Фоминишна заглянула и, не сводя глаз с лица покойника, крестилась и низко кланялась.

– Господи, – сказала она, узнавая, – да ведь это наш городской лежит.

«Нет, я не городской», – хочет сказать Алпатов и не может, и страшно ему лечь безымянно в могилу.

– Ну, конечно, городской, – уверилась старушка, – дай Бог памяти, как его звали, как же, знаю, знаю, он у нас в Ямщине стоял на посту, только, батюшка, как же вы его к себе приняли, все-таки был он полицейский.

– Городской, – поправил Егор Иванович, – насчет городских есть особое разъяснение, это не полицейский.

– Как не полицейский?

– Городской стоит и больше ничего: это статуя.

– Что вы говорите!

– Статуя и больше ничего.

– А в Бога веровал, бывало, как придет на пост, всякий раз перекрестится на церковь.

– Насчет религии вы не беспокойтесь, Пелагея Фоминишна, в Карле Марксе есть все Евангелие, только уж, конечно, без прологов и акафистов, но ведь это не главное.

– Конечно, батюшка, не главное, был бы с нами господь Иисус Христос.

– Ну, это все в Карле Марксе есть, не беспокойтесь!

– Одно только плохо, что вот имечко-то его святое забыли, и другое осмелюсь вас спросить, Егор Иваныч, не выдашь ли на бедность мою кислой капусты, все-таки сын мой у вас шкраб.

– Городской или сельский?

– Сельский, батюшка, сельский.

– Сельским шкрабам капуста не выдается.

Гроб с музыкой «Мы жертвою пали» мало-помалу приближается к площади, и, как только свернули, ветер злейший с летящими снежинками над застылой кочками грязью пронесся, и солнце желто глянуло на похороны блудных детей земли.

– Все выдумала антиллигенция! – тихо говорит Крыскин.

И мужик с топором за поясом ему отвечает:

– Нехай, нехай!

Музыка затихла, гроб поставили у края могилы. Красная армия выстроилась вокруг Карла Маркса, и впереди всех Персюк на коне грозно сидит, как Петр Великий при казни стрельцов.

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Егор, начинай! – кричит Персук дьякону. Егор Иванович заложил руки в карманы по манере новых ораторов и, не вынимая их, прошелся туда и сюда возле гроба, обдумывая, и вдруг выхватил одну руку, простирая к покойнику:

– Товарищ!

И запнулся, имя товарища ему неизвестно. Шарит глазами вокруг, не подскажет ли кто-нибудь, но никто не хочет помочь дьякону, имя покойника никому не известно. Пелагея Фоминишна, бегая всюду, расспрашивает, даже покраснелась: решительно никто не знает имя покойника. А дьякон не совсем еще отстал от обряда и понимает, что нельзя же хоронить, не зная даже имени человека. Но что же делать, никто не знает.

«А впрочем, – мелькнуло дьякону, – это ведь я по-старому думаю, а раз он был пролетарий и соединился со всеми пролетариями, то имя ему стало общее пролетариат; это все от непривычки мыслить по-пролетарски, нужно всегда мыслить коллективно, имя ему пролетариат или покойный товарищ». Он и хотел сказать прекрасное слово Покойный Товарищ, но какая-то финтифлюшка, обязательная в речах новых ораторов, вывернула простые слова: Покойный Товарищ – на совершенно другое и не бывалое ни при каких похоронах, ни в какой стране, вместо «покойный товарищ» дьякон сказал:

– Товарищ Покойник!

– Ну, брат, спасибо, – заговорили возле Крыскина, – живой покойнику не товарищ, это не партия.

– Товарищ Покойник! – продолжал дьякон уверенно и бодро. – Ты пал жертвой озлобленной буржуазии, и вот вам всем пример: ежели вы будете сидеть сложа руки и оставите в покое жить буржуазию, вы заслужите участь Товарища Покойника.

И пошел, и пошел, повторяя Товарищ Покойник, довольный своим необыкновенным открытием обходиться без имени.

– Товарищ Покойник не сидел сложа руки, – сказал он в заключение, – он выступал активно, и вот вам результат. – Выхватил обе руки из карманов и кончил: – Вот вам результат!

– Стой, Крыска, слышал ты, как же так это выходит, понимаешь ты?

– Понимаю, – отвечает Крыскин.

– А я не понимаю: ведь он же не сидел сложа руки?

– Ну так что?

– А сказано, ежели кто будет сидеть сложа руки, тот заслужит участь Товарища Покойника.

– Ну и заслужил.

– Как, ведь он же активно выступал, а не сидел сложа руки?

– Вот дурак, ничего ты не понимаешь, Кобылка, он хотел сказать, что Товарища Покойника все равно заслужишь, будешь сидеть сложа руки или выступать активно, не миновать никому участи Товарища Покойника.

«Смеются!» – горько думает Алпатов.

Вдруг смех остановился. С той стороны огромной площади, где барышники, не обращая внимания на похороны, торговали у мужика сивую клячу, смерч завернулся огромным столбом и, набежав сюда, к Карлу Марксу, выбросил из себя автомобиль, в нем стоял молодой человек с пепельным лицом и всеми кривыми чертами лица. Ледяным голосом крикнул молодой человек:

– Смерть!

Все в страхе примолкли.

– За одну голову этого товарища мы возьмем тысячу голов: смерть, смерть!

"Тысячу любимых кем-то и по-своему названных голов за одного неизвестного, никому не нужного Товарища Покойника, – думал Алпатов в последнем отчаянии, – когда же наконец моя мука кончится и я умру по-настоящему, не будет хотеться драться, и я прошепчу свое окончательное: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое!»

Белый пар изо рта страшного оратора начинает падать снежинками, скажет: смерть! – и густеет снег, и падает, и сам он все растет и белеет, и вдруг, выходит, это не человек, а очень высокий белый медведь показывает на стройного блондина, стоит на задних лапах, а передними все машет и машет, разбрасывая снег во все стороны.

В ужасе все жмутся к мужику с топором.

– Нехай, нехай, – говорит он.

– Вали его, бей!

– Нехай, нехай подходит!

– Ну, бей же!

– Нехай, нехай!

– Дай-ка свой топор посмотреть, – говорит спокойно белый медведь.

И тот отдает, а сам видит смерть в лицо и все-таки повторяет:

– Нехай, нехай!

– Шубу, шубу! – кричит в ужасном ознобе Алпатов. Шубой своей прикрывает жалостливый старик, похожий на Лазаря, Алпатова, но озноб и внутри, и снаружи от падающего снега не дает ни минуты покоя учителю, а буланая лошадка с темными пятнами вокруг глаз едва ли дотащит в больницу.

Шубой белой всю ночь садится снег, белеет сначала на крышах, потом и озими, зеленея, сереют и к утру тоже белеют ровно, и даже высокое жнивье и полынки, все закрылось, только чернела середина живой еще речки, принимая в себя белый снег. К восходу снег перестал, мороз усилился, схватывая все больше и больше живую воду у берегов. Яркое солнце взошло. Краснобровые черные птицы вылетели из болот на верхушки белых берез. Все сияло, блестело, сверкало, и в этом сиянии, в славе великой стала река.

XI СКАЗКИ МОРОЗА

Никто из наших стариков не запомнит инея такого, как в девятнадцатом году нашего века, и не приходилось в книгах читать, что бывает такое. Целую неделю он наседавал, и в конце ломались ветви и верхушки старых дубов. Особенно в березах было много погибели: начиналось обычной сказкой, но потом березка склоняла все ниже и ниже оледенелые ветви, казалось, шептала: «Что ты, Мороз, ну пошутил и довольно», – а Мороз не слушал, гнул все ниже и ниже их ветви и наговаривал: «А вы думаете, сказки мои только забава, надо же вам напомнить, какую цену мне самому сказки даются, испытайте жизнь, а потом я верну вам и сказку, и как вы тогда ей обрадуетесь! А то вы засиделись, вас надо немножко расшевелить». И, уродливо изогнутые, глыбами льда загруженные, падали верхушки молодых, а старые ломались в стволах пополам. Телефонные и телеграфные проволоки стали толще векового дуба, рвались, падали, их подбирали и увозили проезжие. Когда телефонная сеть совершенно погибла и от нее остались только столбы, в газете «Соха и Молот» было назначено за расхищение народного имущества большое наказание, как говорили в деревне: лет десять расстрела.

После инея бушевал всей мощью своей хозяин древней Скифии буран. Засыпаны снегом деревни, поезда в поле остановились, и от вагонов торчали только трубы, как черные колышки. В нашем засыпанном селе крестьяне работали, как на раскопках курганов, и вечером так странно было с вершины сугроба в прорытой внизу траншее увидеть огонек. Стоишь и смотришь, как там под снегом при огоньке дедушка лапти

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
плетет, там мальчик читает книжку, а вот там – как страшна временами бывает наша зимняя сказка! – там лежит покойница: в самый сильный буран в горячке, в одной рубашке вырвалась из хаты женщина, за нею гнались, но потеряли в бурани, только неделю спустя, когда все успокоилось, развальни наткнулись на тело в снегу. В поломанных березах против окна нашей школы, изуродованных инеем, засыпанных бураном из снега и веток так дивно сложилось лицо дедушки Мороза и так явственно, что мальчики в библиотеке, куда заходили за книгами, постоянно указывали в окно и говорили: «А дедушка все смотрит».

«Нет, не забава сказка моя, – говорит детям Мороз, – теперь вы узнали, какую ценою она достается, ну и слушайте сказку по-новому».

Про деда Мороза в засыпанной снегом избушке складывает сказку старый человек малому, и время, – это было некогда, – и место забыты: при царе Горохе, в некотором царстве, в некотором государстве.

Такое великое и простое, как все великое, чудо у людей совершается: они забывают время и место, старый и малый идут за святою звездой, и это чудо называется сказкой.

Высоко горит над избушкой звезда; а за нею идут по снежной равнине волхвы, как-то, бедные, не замерзнут, как-то но утонут в таких снегах, – нет, идут по снегам за новым заветом в тишине ночной за звездой.

Но вот померкла в тучах звезда, и волхвы заблудились, хотят в одну сторону – там начертана ветхая заповедь для мужа: вози! – хотят в другую – там другая заповедь: носи! – для жены, и нет никаких больше путей, как только вози и носи.

Назад вернулись волхвы, спиной к потемневшей звезде, идут по своим следам в прошлое, утерянное возле Авраамовой хижины, там где-то просто вьется тропа, выводя на широкий путь всех народов.

Идут назад, о, как тяжело жить, когда и волхвы идут назад по своим же следам! Скорей же, покажись из-за туч, наша звезда, освети опять дорогу волхвам. Явись, желанное слово, и свяжи неумирающей силой своей поденно утекающую в неизвестность жизнь миллионов людей!

Вот кончается день короткий, и ночь хочет уздой своей остановить мое посильное дело, но я и тьма – мы не двое, а будто кто-то третий, голубой и тихий, стоит у окна и просится в дом.

Голубем вострепнулась радость в груди: или это день прибавляется, и вечером голубеют снега, и открывается тайная дверь, и в нее за крестную муку народа проходит свет голубой и готовит отцам нашим воскресение?

Свете тихий!

Но не ошибаюсь ли, какое сегодня число? Только что прошел Спиридон-солнцеворот. Рано, нельзя говорить, всякое лишнее слово до времени только освещает кресты на могилах нашей равнины, а желанное наше слово такое, чтобы от него, как от солнца, равнина покрылась цветами.

XII КОНТРИБУЦИЯ

Завалило снегами поля, без осадки пуховые горы были по сторонам дороги, встречному издали кричишь: «Делим, делим дорогу!» – и потом, потрещав грядками, поскрипев оглоблями и досыта наругавшись при дележе, засаживаем лошадей по уши, а то и отпрягать приходится и вытаскивать сани самому. Теперь, если догнал кого, поезжай с ним до конца пути, обогнать невозможно.

И в таких-то снегах, по такой-то дороге, собрав возле себя целый обоз, едет из города человек иной жизни. Что ему, свободному, нужно в этом мире древних заветов? Он едет спасти несколько книг и картин, больше ему ничего не нужно, и за это дело он готов зябнуть, голодать и даже вовсе погибнуть; есть такой на Руси человек, влюбленный в ту сторону прошлого, где открыты ворота для будущего.

Собрав возле себя громадный обоз, Савин час, и два, и три слушает обычную мужицкую канитель того тяжелого времени.

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

- Контрибуция, братцы, насела, во как!
- Окаянная сила!
- Тридцать тысяч на Тюшку.
- Задавила Понтюшку.
- Задавила Колдобкина Ерему: двадцать тысяч.
- Издохнет Ерема.
- На Елдошку десять.
- Ох!
- Охает, охает, а десять подавай. Десять на отца и на сына пять: «Пойду, – говорит, – издыхать в холодный амбар, а свое говорить буду: нет и нет».
- Грабиловка!
- На рыжего Крыску легла контрибуция в пять тысяч: валите, говорит, все на рыжего, рыжий все бережет.
- Рыжий все бережет!
- На Крыску черного, огородника, легло десять.
- А еще говорят коммунисты – слово какое! Коммунист должен быть правильный человек, ни картежник, ни пьяница, ни вор, ни шахтер, ни хулиган, ни разбойник, ни обормот, коммунист должен быть средний крестьянин, чтобы он твердо за землю держался.
- А кто землю пахать будет? Пусть соберут весной коммунию, да что приобретут.
- Приобретут! Он будет сидеть и смотреть, а я работать, вот посмотрите, земля весной не будет пахаться.
- Побросают. Все будем ходить, поглядите, все будем блудить с востока на запад и с запада на восток.
- Так для чего же, братцы, эта коммуния и что есть коммуния?
- Коммуна, я понимаю, есть война с голодом. С турками воевали, с немцами, англичанами, с кем только не воевали; и ведь еще побеждали! Коммуна есть армия против врага-голода, но почему же в коммуне еще голоднее стало и нет ситцу и ничего прочего?
- Потому что воры.
- Да что воры, чем вор хуже нас, вор плохой человек тому, у кого ворует, а для всех прочих он, может, получше нас с тобой. Нет, друг, не в ворах дело, а в тех, кто видит вора да молчит.
- Как молчит? Намедни у нас одного всей деревней, как собаку, забили.
- Так ваша деревня маленькая, а в большой деревне никто правду не посмеет открыть.
- Нет, не воры, а я думаю: на войне – там под палкой, а работа мирная из-под палки худая, вот отчего не выходит война с голодом.
- Нет, братцы, я коммуну понимаю как жизнь будущую, сапожник, или портной, или слесарь, что это за жизнь сапожника, только сапоги, не человек, а тень загробная! Так вот для этого устраивается всеобщая полевая жизнь.
- Для сапожника? А я как крестьянин и полевую жизнь отродясь и до гробу веду, и великие миллионы на Руси определены этому с основания веков, то почему же

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
сапожнику дача, а нам наказание. Нет, коммуна есть просто: кому-на.

– Кому на, а кому бя.

– Истинное наказание: Сережка Афанасьев на отца своего Афанасия Куцупого наложил контрибуцию в пять тысяч: «Будь же ты проклят!» – сказал Куцупый.

– Проклял сына?

– Проклял во веки веков.

– Вот, а ты говоришь, дача сапожнику, тут, брат, слова Евангелия, исполнение закона, что настанет время, – ох, настанет время, не минуешь... Ну, братцы, а как же на попа, наложили ли что на попа?

– Как же, на молодого двадцать тысяч.

– Ну, хорошо: молодой поп снесет.

– И на старого десять.

– На покойника?

– Так он после раскладки помер. На дьякона пять, а на Епишку ничего.

– Как же ничего на Епишку: у него на огороде двести дубов лежит.

– Ничего, но не горюйте, придет время, и Епишка зацепится, все там будем, и сам Фомкин брат попадетса.

– Не брат он мне! – крикнул Фомка.

– Кто же он тебе?

– Супостат!

– Ладно, два яблочка от яблонки далеко не раскотятся, этот самый Персюк, матрос, землю никогда не работал, не знает, как соху держать, как зерно в землю ложится, а говорит: «Я коммунист, мы преобразим землю». Я ему: «Чего же ты раньше-то ее не преображал?» – «Не хватает, – говорит, – транспорта».

– Кобеля ему вареного не хватает.

– Да, транспорта, говорит, не хватает.

– Транспорта! Ты мне транспорт в живот проведи.

– Ну вот и я ему теми же словами сказал: «Ты мне транспорт в живот проведи».

– И что же он тебе на эти слова?

– На эти слова он мне хвостом завилял. Эх, вы, говорю, стали на волчьи места, а хвосты кобелиные.

– Чего же вы терпите? – сказал Фомка. – Взяли бы да и освободились.

– Кто нас освободит?

– Известно кто: барон Кыш.

Весь обоз замолчал.

В тишине под скрип снега перебегают Фомкин огонек все сани из конца в конец: головы думают. Невидимо бегают огонек, и на одном возу опять вспыхнуло:

– На Авдотью легло двести рублей. Мало, а что делать, как малого нет. «Есть, – говорят, – деньги?» – «Нету». – «Есть деньги?» – «Нету». – "Расставайся с коровой!" – «На Пичугина пало десять». – «Подайвай», – говорят. «Нету!» – «Иди в

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
прорубь!» Раз окунули.

– Окрестили!

– Да, окрестили и спрашивают: «Есть?» – «Нету». Во имя Отца окунули и во имя Сына окунуть. «Есть?» – «Нету». Из третьей Ердани вылезает. «Есть?» – «Есть».

– Окрестили человека.

– Крестят Русь на реках Вавилонских.

– На Тигре и Ефрате.

– И все Персюк, один креститель, а когда речь говорит, обещается освободить женщину от свиней и коров.

– И освободили: нет ни свиней, ни коров.

– Эх, братцы, ни паралича из этих слов не получается, а вот что я думаю: собери всю пролетарию, будет ей бобы строгать, собери всех голоштанников, да воз березовых привези, да обделай их, чтобы они работали, как мы, как Адам, первый человек.

Сильней и сильней разгорается фомкин огонь по обозу, теперь с ним каждый согласен свергнуть статуя и потом хоть бы день, два пожить, как сам фомка: чтобы нет никого и никаких. Вдруг как ток пробежал по обозу, все стихло, и одно только повторялось ужасное слово:

ПЕРСЮК.

– Эй, братцы, эй, берегись, держись, заворачивай скорей. фомкин брат едет.

Вмиг обоз и слова мужиков, все разошлось, расплылось, как облака, и в страхе погас фомкин огонь, и сам фомка застрял в снегу, кувиркается и не может со всеми удрать. На дороге один только Савин мучится, что никак не может из-под тулупа достать пенсне и разглядеть, с какой стороны покажется это чудище – Персюк, фомкин брат, и, главное, понять, куда в один миг мог по таким глубоким снегам исчезнуть такой громадный обоз, как могли вынести из сугробов куда-то на другой путь слабосильные деревенские лошаденки.

– Стой! стой! – внезапно появляясь, кричит Персюк. – ну, берегись теперь, фомка.

Вдруг он как сноп с коня и с коленки из карабина целится, и так кажется это долго у него: целится, целится.

Фомка хлоп! – в него из нагана, хлоп! – другой раз, а Персюк все целится. Хлоп! – третий раз фомка, и тут Персюк выстрелил, а фомка нырнул в снег, показалась рука, показалась нога, и остался торчать, как свиное ухо, из снега неподвижно угол шубной полы.

– Что же вы это человека убили? – крикнул Савин.

– Собаку! – спокойно ответил Персюк и, вынув револьвер, прошел туда, вернулся, сказав: – Не отлежится.

– Человека убили?

– Кто такой, за книгами? Лектор, может быть?

– Лектор.

– И с высшим образованием?

– Учился, да что в этом теперь?

– Как что: гуманность.

Савин так и всколыхнулся от слова «гуманность» и, вытащив наконец в эту минуту

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
пенсне, посмотрел через него в страшную рожу. «Вот, – подумал он, – крокодил, а тоже выговаривает „гуманность“!»

– У вас тут, – сказал он, – в прорубь мужиков окунают, морозят в холодном амбаре, а вы мне толкуете еще про гуманность.

– Не всех же морозим, – ответил Персюк, – злостного другим способом не проймешь (...)

– Ну и ошибаетесь.

– Не часто, а бывает, но без этого же и невозможно нам, а если человек встречается гуманный и образованный, радуюсь: вот был тут Алпатов, приятель мой, умнейшая голова, тот всякую вещь до тонкости понимал, пропал ни за нюх табаку.

– Как же пропал, – сказал Савин, – он в больнице и, кажется, поправляется.

– Помер, сам видел: на простыне выносили.

– Жив.

– Помер.

«Что же это такое? – думает Савин, продолжая свой путь в одиночестве по глубоким снегам. – Сейчас был тут громадный обоз, и нет никого, был фомка, и нет его, и человек был такой заметный Алпатов, и никто даже хорошо не знает, жив он или в могиле: умер – не удивятся, жив – скажут: объявился. И даже если он воскресший явится, опять ничего, опять: объявился».

Поскорей же труси, лошаденка, выноси из этого страшного поля белого, где нет черты между землею и небом.

ЭПИЛОГ

И как все скоро переменяется, будто не живешь, а сон видишь. Давно ли тут вместе с Алпатовым в Тургеневской комнате привешивал на видное место даму с белым цветком и подбирал к старым портретам тексты из поэтов усадебного быта – теперь этого уже нет ничего. В Тургеневской комнате канцелярия Исполкома, в парадный зал переехал Культиком, в колонной – Райком, в комнате скифа – Чрезвычайком, в охотничьем кабинете чучела лежат грудой в углу, хорошо еще, книги уцелели, и то потому только, что ключ увез Алпатов с собою в больницу.

Позвали вора с отмычками, открыли шкаф, и Савин принялся разбирать и откладывать нужные ему книги. Секретарь кружка, Иван Петрович, все уговаривал поменьше книг увозить: «Не обижайте деревню!»

– История и археология, Иван Петрович!

– А нам пьесок, пьесок.

Окончив работу, Савин с книжкой прилег на диван, но читать ему не пришлось, дверь отворилась, вошел черный человек в полушубке, с лицом обреченным, назвал себя:

– Крыскин Иван, огородник, – и спросил председателя.

Савин рассказал ему, что Персюк повстречался с ним в поле, скоро будет, и тут на другом диване можно его подождать, а сам он – библиотекарь. Этими словами Крыскин совсем успокоился, присел на диван и сказал:

– Пришел садиться.

– В холодный амбар?

– В холодный.

– Вот крест!

– Да, подобное, только хорошего или какого будущего я тут не вижу. Был тут

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
учитель Алпатов, хотел на этом основаться и помер с голоду.

- Жив!
- Помер.
- Помер, ну, так воскреснет, что скажете?
- Ничего не скажу: он воскреснет, а я все равно пойду в холодный амбар. Вот если бы он воскрес и спас нас от холодного амбара, это я бы признал. А то мало ли что для себя образованный человек на досуге придумает, взял и воскрес.
- Да разве можно так?
- Отчего же нельзя, свободный человек выход для себя может придумать какой угодно, а мне должно идти в холодный амбар неминуемо.
- То же говорил разбойник Христу: «Спаси себя и нас».
- И говорил правильно, оттого что ему жить хотелось на земле, а не на небе.
- Хотите жить на земле, почему же вы не с пролетариями?
- Потому, что я огородник, просто развожу рассаду, раз душевой земли у меня нет и равенства с прочими крестьянами нет, как я с утра до вечера копал землю и так что шесть раз огород перекопал лопатой и продал капусту, а они неверно рассчитали мой доход и контрибуцию в десять тысяч я не могу уплатить, то неминуемо мне попасть в холодный амбар. Какое же тут будущее: огород мой на мне прекращается, я – конец, а после меня человечество будет копать огород не лопатой, а паровым плугом, один будет пахать, а девяносто девять заниматься чтением книг, одна баба полоть паровым способом, а девяносто девять заниматься с детьми, как обещает Фомкин брат, – нет!
- Чего это Фомкин брат? – сказал, появляясь в дверях, Персюк. – Э, Крыска пожаловал, ну, что принес?
- Придет весна, капусту посажу, придет осень, продам, щей похлебаю и принесу.
- Не брешь, Крыска, есть деньги?
- Есть на куме честь.
- Говори без притчи.
- Издохла кума, никому не дала.
- Эй, Кириллыч, запри его, черта, знаешь, туда, где наемни Кобылка сидел.
- Рядом с нужником?
- Да, в нужник.

Спустя время Савин прошел в новую дощатую пристройку к дворцу и там из ледяного кабинета в пустой сучок увидел чулан, наполненный архивами волости, полузанесенным снегом, во все щели тесовых стенок несет снежную пыль, и на этом снежном полу сидит Крыскин, обхватив колени обеими руками, и смотрит в одну точку, где небо и земля одинаково белые, и черный ворон летит, не поймешь как, по небу или по земле.

Долго Савин возился еще в охотничьем кабинете, укладывал в ящики поэтов усадебного быта и, когда возвратился погреться в зал около чугунки, там на канцелярских столах сидели все члены Исполкома, Райкома, Чрезвычайкома и сам Персюк, все хохотали над сказками Кириллыча. Принесли огонь, завели граммофон, собрались разные деревенские гости и между ними даже безногий солдат. Пели, плясали, топали, хохотали до полуночи.

- Крыскин замерзает, – шепнул мальчик.

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Чего? – спросил Персюк.

– Хрипит.

– Пускай хрипит.

Савин уснул, не раздеваясь, тут же на диване возле чугунки. В эти страшные дни по ночам у людей редко бывали сновидения, как будто душа покрылась пробкой от ударов дня или тучи закрыли небо души. Но в эту ночь завеса открылась, и свою собственную душу увидел спящий, как чашу, из нее пили, ели и называли эту душу МИРСКОЙ ЧАШЕЙ. Больше ничего не виделось Савину до раннего утра, когда он услышал голос Кириллыча:

– Ну и мороз, вышел до ветру и конец отморозил, что теперь скажет старуха?

У чугунки волостные комиссары жарили сало на сковородке и кричали Савину:

– Иди, ешь, чего упираешься, где наша не была, все народное, ешь, не считайся.

– Мороз и метель! – сказал Савин. – Как же тут ехать?

– Не так живи, как хочется, – ответил Кириллыч, – а так живи, ну как теперь сказать, БОГ велит?

– Не «Бог велит», – сказали у чугунки, – а как нос чувствует.

– А кто же метель посылает?

– Это причина, так сказать.

– Ну, Иисус Христос.

– И это не причина.

– А тебя как зовут?

– Ну, Иваном.

– Врешь, не Иван, а причина.

Посмеялись, почавкали сало, еще кто-то сказал:

– Еще говорится судьба.

– Пустое, – ответил Кириллыч, – поезжай сто человек спасать и твое дело с ними связано, это будет судьба, а ежели я в такую страсть кинусь – это моя дурь и пропадать буду, услышат, никто не поможет, скажет: «Зачем его в страсть такую несло».

Савин не послушался Кириллыча и поехал в такую погоду. На прощанье зашел в ледяной кабинет и заглянул в пустой сучок: Крыскина там не было, или уплатил налог – выпустили, или замерз – вынесли. Лошадь уже тронулась, как Савин услышал, кто-то зовет его, – это Иван Петрович, пожилой сидящий человек, резво догонял его:

– Пьесок, пьесок, – говорил он на ходу, – расстарайтесь для нас, не обижайте деревню!

В поземке исчез скоро Иван Петрович, как несчастный эллин, затерявшийся в Скифии, потерялся ампиный дворец и парк с павильонами, но наверху было ясно и солнечно, правильным крестом расположились морозные столбы вокруг солнца, как будто само Солнце было распято. Все сыпалось, все двигалось вниз, виднелась только верхняя половина лошади, а ноги совсем исчезали, и в поле далеко что-то показывалось и пряталось в поземке, какие-то серые тени с ушами, лошадь храпнула, и стало понятно, что волки. И еще черный ворон пересек диск распятого солнца, летел из Скифии клевать грудь Прометея, держал путь на Кавказ.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

Мирская чаша. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
<http://prishvinmihail.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!